

В.Б.Борщев

История болезни

Предисловие

4 июня 1994 г. моя жена, Лида Кнорина, покончила с собой. За несколько месяцев до этого, в феврале, она заболела. Тяжёлый грипп. Почему-то плохо спала. А через несколько дней вдруг – острый психоз. Больница. Потом дома. Вроде бы совсем выздоровела, начала работать. А в мае началась депрессия...

Я начал писать эти заметки в день её смерти, точнее, в первую ночь. Закончил, кажется, в конце июля. Писал, не думая, конечно, ни о какой публикации. Просто нужно было выжить.

Тогда, в то же лето, набрал часть текста. Но только сейчас, через пять лет, весь текст, наконец, в компьютере.¹

Он приводится ниже в том виде, как я его писал, практически без всякой правки, разве что иногда в рукописи какая-нибудь фраза была недописана, и я что-то с ней сделал.

Кое-где я сделал вставки, как правило, небольшие. Они выделены.

В тексте упоминаются разные люди, с теми именами, с какими они существовали в моём сознании или в наших с Лидой разговорах. Я не делаю (по этому поводу) внутритекстовых примечаний. Но в конце, в приложении, приведено что-то вроде указателя – список упоминаемых в тексте учреждений и лиц (с краткими комментариями).

Июль 1999 г., Москва.

Добавление 2002 г.

После того, как текст появился в компьютере, я изготовил несколько десятков печатных экземпляров и раздал их Лидиным и своим друзьям и знакомым. И в течении этих трёх лет давал его читать многим людям в той или иной форме, бумажной или электронной. Наверное, человек сто в общей сложности прочли его. Многие говорили, что они прочли его, не отрываясь. Несколько человек, сами недавно потерявшие близких, говорили, что в чём-то им этот мой текст помог.

Но некоторые отклики были для меня неожиданными. Так, некоторые близкие Лидины подруги сказали, что им самим, конечно, необходимо было прочесть этот текст, но они бы очень не хотели, чтобы он был опубликован. Одна из причин – там много физиологических подробностей. А главное, он описывает Лиду в болезни, и люди, которые Лиду не знали, увидят её только в этом свете.

В последнее время я много занимался Лидиным сайтом. Перед тем, как поместить туда «Историю болезни», я ещё раз перечитал текст. Исправил опечатки и ошибки, ещё какие-то мелочи. Зашифровал или убрал некоторые имена, выкинул один «физиологический» кусок. Но, в основном, ничего не менял.

Мне кажется, что я понимаю Лидиных подруг, но в контексте всего сайта, где много как Лидиных текстов, так и текстов о ней, этот текст, как мне кажется, не исказит впечатление о ней. Просто внесёт свою печальную ноту.

Я понимаю, что в тексте много невнятных, повторов, я циклился, когда писал его. Но тут я сознательно практически ничего не менял, разве что какие-то мелочи. Текст этот отражает именно моё состояние тогда.

Я благодарен всем, прочитавшим его.

Ноябрь 2002 г., Амхерст

Запись 4 июня ночью. Спать я не мог.

Её записали под номером 1702. В последний список. В морге.

Мальчик сразу же предложил услуги. Вскрытие будет в понедельник, а то и во вторник. А он

¹ Последнюю порцию текста набрала по рукописи Наташа Штильмарк. Я ей очень признателен.

может заморозить лицо уже сегодня. 15 тысяч. Может и в долг. Я полез в кошелек и наскрёб.

Почему я сразу же не поехал на этот мост? А когда поехал, то почему не спустился? Вдруг она там ещё ходила и, может быть, в глубине души ещё ждала меня? Что приеду и остановлю. Вряд ли, конечно. Наверное, она сразу прыгнула с этого моста. Иначе откуда кровь в лёгких, эта пена?

Конечно, надо было заставить её вчера выпить эту таблетку – азафен. Я, как идиот, её послушался – она не хотела, говорила, что таблетка седативная, а она и так спит. Как раз поспала бы подольше. А я расслабился, когда приехал. Она дома, всё в порядке. И выходные впереди, я буду с ней, разберёмся. И М.Е. здесь.

А она нас обманула. Как Рика, наша собака, когда хочет убежать. Ей скажешь «нельзя», она как будто послушает. А потом исчезает.

Встала утром и ушла. А я, идиот, не встал вместе с ней. Зачем я вчера читал эти газеты? Вообще, почему я такой тупой. Ведь говорили мне про эту депрессию. Это же химия. Почему мы не стали её лечить? А я только уговаривал её, что всё это ничего, что всё пройдёт.

Уже после вчерашнего дня, когда она так напугала меня утром – я только тогда по-настоящему поверил, что она всерьёз думает о самоубийстве. И поверив, дрожал весь день, купил эти таблетки – и не заставил её выпить их. Опять понадеялся на себя, что уговорю, услезу. Тупой кретин.

Удивительно, как она хотела жить тогда, в больнице. Как она хотела вырваться оттуда, от Херувимовны.

Я слышал, как она вставала. Даже, кажется, видел, как она начала одеваться, взяла свои вещи, вышла. Не знаю, сколько времени было – часов шесть или раньше. А я был очень сонный. Проснулся в пять минут девятого. Вышел – Рика дома, значит, не гуляют. «Компьютерная» комната закрыта, на резиночке. На кухне – её нет. Заглянул к М.Е. – она читает, а Лиды нет. Одежда верхняя вся на месте, ключи – на тумбочке, дверь не заперта.

Ушла. Ощущение сразу – всё кончено. Она же вчера говорила. Ускользнула. Обманула.

Конечно, надо было сразу бежать на мост. Я же пошёл с Рикой, бродить по нашему «собачьему» маршруту, хотя что ей здесь делать. Вернулся. Пошёл в милицию – не было ли происшествий. Ничего не было.

Тогда я поехал на этот мост. Она же говорила про мост. У неё два варианта было – из окошка или с моста. Но на мост я смотрел только из окна трамвая. Дурацкое соображение, что если что-то было, то будет толпа. Но ничего не видно, никого не вылавливают. А никто и не вылавливал, даже если и видел утром, как она бросилась. Если и видели, то никто бы никому не сказал.

А вдруг она вообще не бросалась с моста, а когда я там ездил, ещё ходила по берегу?

Потом, после вскрытия, врач-патанатом сказала мне, что почти наверняка она не бросалась с моста. Травм не было, только небольшие царапины на лице. Скорее всего, она вошла в воду там, где её нашли. И, наверное, сразу. И если бы я тогда, когда ездил на мост, спустился, я мог бы просто сам найти её в воде. Жутко представить...

Я вернулся, звонил, узнавал про несчастные случаи. Но они, небось, и сейчас там ещё сведений не имеют. Метался, звонил Лизе, Тоньке. Снова пошёл в нашу милицию. У них – ничего. Сказали, что в Строгино другой милиции нет, есть в Щукино. Поехал туда. И дежурный мне сказал, что на берегу нашли женщину. Он вызвал машину – чтобы взять меня – на опознание.

В машине ещё мелькнула надежда – не она, т.к. милиционер сказал, что нашли удостоверение медицинского работника и фотографию дочери. Но это он спутал. Удостоверение было её, академическое.

Она лежала на берегу, щукинском, метрах в 200-300 ниже моста. На спине, ноги в воде. В джинсах стареньких, молния порвалась. В свитере. В кроссовках. Я ведь не знал даже, в чём она вышла из дома.

Во рту – кровь, под глазом маленький синяк. Рядом на песке – полоска крови.

Милиционер – тот, кто был внизу – сказал, что им позвонили, не назвали. Сказали, что на берегу лежит женщина, мёртвая. Они поехали. Вначале не нашли, потом вернулись, нашли. Это было в 2 часа. А я в милицию пришёл в 3.

Потом я пытался выяснить, когда им позвонили. Но в журнале это (время звонка) не было зафиксировано.

Говорят, что она лежала лицом вниз, её, видимо, вытаскивали из воды за одежду – свитер был задран. Кто её перевернул на спину – не знаю. Милиционеры нашли в карманах удостоверение, Валерину фотографию и проездной билет.

Всё это она взяла сознательно. Билет достала из плаща, удостоверение и фотографию – из сумочки. Удостоверение – чтобы опознали.

Волосы у неё были почти не мокрые – видимо уже почти высохли. А одежда вся мокрая. Руки бледные, совсем не живые. А лицо слегка румяное. Только румянец немного синеватый.

Милиционеров было двое. Один позвал меня – нужно записать. Спрашивал меня и писал. Бумажка, кажется, называется, «Объяснение». Потом дал мне подписать. И написать – «записано с моих слов». Я ему ещё ошибку поправил. Он написал «дипрессия».

Потом приехала скорая. Молоденький врач (или фельдшер) и шофёр. Шофёр сказал, что сюда подъехать нельзя, сказал, где он поставит машину. Они принесли такие мягкие носилки – прочную клеёнку с ручками. И мы понесли её к машине, метров 150. Изо рта у неё при этом шла пена, вода текла. У машины переложили на настоящие носилки, которые закрепляются в машине.

Поехали в морг. Врач звонил минут 5. Открыли – двое молодых людей. Один почему-то с дубинкой милицейской. Они кланчили у скорой какие-то лекарства. Всё время острили и ругались.

«Что ли опять бомжиху привезли?» Это который с дубинкой. Хотели свалить её просто на пол, сбросить с носилок. Потом, осознав, что я тут, сказали, что можно положить на стол. У них там каменные столы. Врач ушёл. Парень, который поприличнее, без дубинки, Алексей, записал её в журнал. Под номером 1702. Спрашивал, возьму ли я потом её одежду, а то можно её не перечислять. Я что-то мычал. Он сказал, что вскрытие будет в понедельник или во вторник. Предложил сделать заморозку лица. Но об этом я уже писал.

Вернулся домой. М.Е. сказал. Она стала сползать на пол у меня в руках. Довёл до дивана. Валокордин.

Почему-то впечатление, что в лекарствах рылись. И не нашёл amitriptilina и ещё чего-то, что Лида отвозила врачихе – отдавать. Мы ведь считали, что она вылечилась. И навсегда. Но врач не взяла лекарств. Не глотнула ли она чего-нибудь? Но вряд ли.

Потом выяснилось, что лекарства эти в другом месте.

Вчерашний день.

Утром она меня напугала. Мы пошли гулять с Рикой – почему-то мне показалось, что надо пойти вместе. И она снова заговорила о самоубийстве. Как будто советовалась со мной. Она и раньше говорила. Вначале – если бы это был не грех, как хорошо бы покончить с этим. Потом – уже не говорила о грехе, а просто – хоть из окошка, или с моста... Но ведь ещё подберут, спасут, будешь вся переломанная... Но я как-то воспринимал это не вполне всерьёз, как метафору, что ли. А тут я впервые испугался, стал кричать на неё. А она – зачем мне жить? Всё кончено.

– Но ведь ты так хотела выйти из больницы, так хотела жить.

– Тогда хотела из больницы выйти, а теперь – совсем.

– Но у тебя Валера, мама, я.

– А зачем я вам такая? Со мной всё кончено. Я кончилась... Вот Цвейг вместе с женой покончили с собой. Так было бы легче... Но что я? Это уже эгоизм... Вот ведь помогают ухаживать безнадежно больным. Врач этот американский. Как хорошо бы было, если бы и тут так же, чтобы без мучений.

Дома я уже почти рыдал. А она – да не пугайся ты так. Говорят, что кто говорит о самоубийстве, с собой не кончает.

Но параллельно шли и другие линии. Она говорила часто в последнее время, что ей нечего носить. А в четверг как раз получила небольшие деньги. И была идея съездить в магазин second hand, её тётка Ксения говорила, что там совсем дёшево можно купить что-нибудь приличное. Она позвонила Ксене узнать адрес. Но та сказала, что сегодня магазин закрыт. Чтобы растормозить её, я предложил ей пойти в магазин здесь, в Строгино. Мне надо было на работу к 11 часам, и мы

пошли вместе. Ей понравились какие-то брюки, она стала их мерить, но они были слишком велики. Я поехал на работу, а она пошла домой с планом купить какую-нибудь еду.

Темы «Мне нечего носить», «Что мы будем есть?», «Что мы будем есть на даче?» возникали и раньше. Действительно, за последние несколько лет она себе почти не покупала вещей. И с деньгами, особенно год-два назад, было туго. Да и энергии на это она тратить не хотела. Но что-то всё же было, даже какие-то новые тряпки появлялись – перепало от Нэмочки, ещё откуда-нибудь, да и сама она что-то, хоть немного, покупала. Во всяком случае, до болезни это серьёзной проблемой ей не казалось – ведь ездила она в Израиль, и не одежда её беспокоила. А сейчас и с деньгами стало легче. И говорили, что надо ей этим заняться. Я собирался получить как раз кучу денег за грант. Да и раньше бывали деньги. Она говорила, что не умеет теперь ходить по магазинам.

А «что мы будем есть» было совсем псевдопроблемой. Деньги были, и в магазинах сейчас всё можно купить. Просто для неё в этом состоянии всё становилось проблемой. Она не то, что придумывала трудности, а как-то «защелкивалась» на них, вместо того, чтобы эти проблемы решать. Говорят, это характерно для депрессии.

После своего совещания я позвонил, спросил, что купила, что делает. Говорит – сижу.

Потом я поехал за этим азафеном, а когда вернулся, мне передали, что она звонила и чтобы я не беспокоился, что её нет дома. Я, конечно, не успокоился, я и так всё время дрожал, как бы там без меня чего не вышло. Получил деньги и помчался домой.

Приехал домой – они дома. Лида и М.Е. Отлегло. И рада она мне была. И бананы съела – у нас были – явно с удовольствием. Она в последнее время так редко получала удовольствие от какой-нибудь еды.

Она спрашивала – ты завтра пойдешь гулять с нами в Троице-Лыково? Я, конечно, сказал, что пойду. Потом она ещё несколько раз спрашивала об этом.

Она рассказывала, что сидела и решила съездить за М.Е., привезти её (а не ждать, что та сама придет, как намечалось). Привезла от М.Е. какие-то еврейские книжки. И блузку, которую М.Е. перешила из какого-то платья.

А до этого она звонила Рите Поздняк. Надо же, говорит, научиться жить, раз покончить с собой не умею. Рита ей посоветовала домашнее противодепрессионное средство – *гидравлический удар*. Надо выпить чайник воды. Целый, несколько литров.

– Я, конечно, не выпила, выпила стакана три и больше не смогла. А она мне сказала – какая ты молоденькая, у тебя в первый раз депрессия. И ещё как-то по-украински смешно это сказала.

Она всё это рассказала, и я почему-то расслабился. Решил – два выходных впереди, я с ней буду всё время. М.Е. здесь.

Предложил ей выпить таблетку азафена, сказал, что это самый мягкий антидепрессант. Он слегка седативного действия.

А она сказала – давай не будем, не хочу седативного. И так всё время сплю. Почему я не настоял? Думал – завтра видно будет.

Пообедали. Легли и стали читать Библию. В последнее время она говорила, что это единственное занятие, которое ей приятно. Я читаю вслух, спрашиваю у неё слова, перевожу, она меня поправляет.² Она даже говорила – давай напишем грамматику библейского иврита, мы всерьёз это обсуждали. Уже не напишем. И много чего не напишем.

Но в этот раз она расстроилась. Я почему-то быстро читал, попался такой кусочек, всё время повторения, одни и те же формулы. Её вообще такие места раздражали, а я не хотел пропускать. Но попалось какое-то трудное место, она сказала, ничего не понимаю. Я сам полез в словарь, разобрались. Но она расстроилась: вот я и Библию уже перестала понимать.

Потом пошли гулять с собачкой. До этого или после этого пили чай. Она уже сонная была и мрачная.

Легли спать часов в 11. Она сразу стала засыпать, а я взял газеты.

– Ничего, если я почитаю?

– Конечно.

² Лида занималась библейским ивритом, и мы читали Библию на иврите.

Зачем я их читал? Лёг бы сразу, проснулся бы вместе с ней. И не ушла бы она никуда. А утром, время такое, видимо, депрессия усиливалась.

С тех пор, с начала февраля, когда она заболела, вначале гриппом, а потом этим, прошла целая жизнь. И вот – кончилась.

На берегу, ногами в воде. И кажется почему-то, что эта картина в моей голове уже мелькала раньше. Ужас.

6 июня 1994

Сегодня – третий день – впервые новое ощущение. Те два дня – в основном чувство вины. И всё время срываешься в рыдание. Слезы каплют. А сегодня – то, конечно, никуда не исчезло, но впервые ещё и страх за себя. Уже не головой, а кожей понимаешь, что один. И навсегда. И жить не умею. И неизвестно, сколько осталось жизни, пока ещё что-то могу. Не в смысле достичь. А просто жить. И долги отдать. И рабочие, и человеческие.

В последнее время я как-то сильно сдал. Всё откладывал. Вот даже с компьютером не научился как следует разбираться. По верхам. Дома всё отваливается, краны текут. Холодильник этот старый стоит пятый год, тараканов разводит. Это всё мелкие детали, но характерные. Представляю, как это Лиду не то чтобы раздражало, но действовало, безусловно. И не работаю по-настоящему уже давно. Она-то вкалывала, как зверь. До болезни, конечно. А про меня, что я уже как-то волюню, газеты иногда по полдня читаю, тоже не могла не замечать. Недаром в самом начале болезни, по-моему, в первый день, она сказала – «Мне давно тебя жалко».

Надо собраться. Слишком мало ресурсов осталось. Новую жизнь можно, конечно, начинать каждый день. Но сейчас она новая просто потому, что нет Лиды. И если не соберусь – мне крышка.

Долги. Мама, Сережка, Валера тоже. Это человеческие. А Лиде человеческие уже не отдашь.

Работа. В своей – хотя бы покончить с этой параллельностью, зафиксировать то, что понимаю³. А с Лидой так по-настоящему и не начал работать. Только обещал. Одна попытка была – про типы. Но не доделано, не продумано. Надо понять, смогу ли сейчас хоть что-то сделать – про эти типы, может быть, про вид. Мало надежды. Про иврит-то ясно, что ничего не смогу.

Стихи её нужно издать.

8 июня, утро

Что было в эти два дня. В понедельник, 6-го утром поехал к Москва-реке, к мосту. Спрашивал людей – тут в субботу женщина лежала, не видели ли. Никто ничего не видел. На место пришёл. Положил кусок гранита из нашего карьера. Хочу сделать там свой «памятник» – кучку камней, постепенно буду привозить из карьера – там много обломков, видимо, отходы какой-то мастерской.

Позвонил в морг, свидетельство было готово. Приехал. Вышла женщина-эксперт, видимо, патанатом. Спросила, где её нашли, не было ли психического заболевания. Сказал. Спросил, прыгнула ли она с моста. Говорит, вряд ли. Травм нет, только небольшие ссадины на лице. Значит, видимо, она испугалась моста. Версия – что увидела пустынное место – там, где её нашли, и просто там утопилась, недалеко от берега. Я только не знаю, возможно ли это, можно ли просто так, глотнуть воды. Не сыграли ли тут свою роль слова – этот самый Ритин «гидравлический удар», который лечит депрессию. Не смогла выпить эту воду накануне – и «вылечилась» здесь. Навсегда.

И опять, конечно, муки – почему я тогда, когда ездил на мост, не спустился, может быть, она ещё бродила или сидела. Хотя вряд ли. Наверное, нельзя долго ждать с таким намерением.

Правда, это и так было не так уж быстро. Я как бы повторял её «Голгофу». Ехал в трамвае. Прошёл по мосту, смотрел – как тут можно прыгнуть, перелезть через перила. Спустился вниз. Прошёл до места.

И ещё один «сюжет» приходит в голову – если бы я тогда спустился, мог бы сам обнаружить её – в воде, уже утопленницу. Страшно даже представить себе. Хотя что может быть страшнее того, что было.

Её, видимо, кто-то вытаскивал из воды, за одежду или за ноги, она была лицом вниз – вот и появились эти мелкие травмы.

³ Речь идёт о методе описания параллельных вычислений, над которым я работал тогда.

Медицинского свидетельства о смерти у меня не осталось. Видимо, его забрали в загсе. Но в моей тетради остались выписки из него:

Непосредственная причина смерти	<i>Асфиксия</i>
Заболевание, вызвавшее и обусловившее непосредственную причину смерти	<i>Закрытие просветов дыхательных путей водой при утоплении</i>

Эта же формулировка (*закрытие дыхательных путей...*) записана и в загсовском свидетельстве о смерти.

В медицинском свидетельстве в графе *Смерть произошла* был подчёркнут пункт 5: *род смерти не установлен*, а не пункт 3: *самоубийство*.

Так что юридически её не посчитали самоубийцей, и в статистику самоубийств она не попала, хотя врач из судебной экспертизы в этом не сомневалась. Может быть, это правильно – абсолютных доказательств у них не было.

Казань – конец июня

25 июня

Тогда, в первую ночь (с 4 на 5 июня) я каялся в своих грехах – того не сделал, этого не сделал. Это всё так, но это на поверхности.

А главный мой грех, что я не смог вникнуть, проникнуться её тогдашним состоянием. Понять, как ей плохо, в чём плохо. Она говорила, но до меня как-то не вполне доходило. До пятницы я не понимал, как всё отчаянно плохо. И в пятницу, уж испугавшись-то, надо было плюнуть на все дела, всё оставить. И, главное, понять, найти какие-то слова, какие-то средства. Звонить всем, молить о помощи. Ту же Симу позвать, ещё кого-нибудь.

Что теперь причитать. Поздно.

27 июня

На людях как-то сдерживаюсь, хотя и тут голос всё время срывается. А когда один – вроде бы, так лучше. Но слёзы текут. Её нет. Всё. И словами это не выразить. Пустота. Зияние.

И сознание, что сам упустил её. Поневоле думаешь, сравниваешь. Всякая смерть близкого человека – боль. Но если болезнь – как тогда отец – это не то, что легче, но просто – неизбежность. А тут – ушла сама. И если бы не тупость моя – мог бы ведь удержать.

Тупость и в тех вещах, о которых писал уже. Не дал таблетку, не встал утром, ушёл на целый день накануне. Но это всё же на поверхности. Главное – не просёк, не дошло полностью до сознания, как ей больно, как плохо. Не смог до конца этого ощутить. И поэтому не смог найти нужных слов. И от этого все эти «поверхностные» просчёты.

Наша ещё общая ошибка была, что мы тогда решили, что она выздоровела. Окончательно. Был срыв – и всё. Лекарства, больница – всё это позади. И слово *депрессия*, хотя и произносилось, но всё его зловещее значение, вся опасность – не осознавалась. Вначале её, видимо, и она не понимала. А я – так до конца.

Я говорил ей – выгоним твоего «охламона». Но не понимал, как этот «охламон» в неё вцепился и тянет её в эту воду.

А теперь можно сколько угодно перебирать, что было, что – не так. А её нет.

А я делаю и буду делать эти памятники ей – книжку стихов, книжку статей. Но если бы это делать тогда. Почему только смерть учит?

И в чем теперь смысл моей жизни? Я не собираюсь кончать с собой. Но живой ли я?

Но надо написать «историю болезни».

29 июня

Сегодня утром испугался. Вчера вернулся от Феликса примерно в 11 вечера. Мама уже спала.

Утром проснулся в четверть девятого, вышел, дверь в её комнату закрыта. Странно, обычно она раньше меня встаёт – я позже ложусь. Умылся, зарядку сделал. Около девяти – не выходит. Зашёл в комнату – лежит, слава Богу, дышит. Но не слышит, как я зашёл. Спит? Или, не дай Бог – инфаркт, инсульт? Это было бы чересчур...

Посидел рядом, дождался начала десятого – лежит так же. Взял её руку, проснулась. Слава Богу, всё в порядке. Разбудил, конечно, зря. Оказывается – вечером я её разбудил, и она не спала до трёх-четырёх.

Была нормальная жизнь. И я как-то даже не осознавал, насколько Лида заполняла всю мою жизнь.

Москва.

7 июля.

Проснулся, наверное, в половине шестого. С обрывками какого-то сна. Снились реальные люди, какая-то ерунда. И первая мысль – она мне не снится. Всё это время. Т.е. в снах бывают какие-то неясные персонажи, в которых – может быть и она. Но так, чтобы именно её – её я всё это время во сне не видел.

А наяву – она всё время. Её нет. Это основное ощущение. Другое – как я допустил это, как не смог, но об этом потом. Словами – чем она была и чего не стало – не скажешь. Это как воздух, как эфир какой-то, который во всём. То есть был эфир – её присутствие – во всём. А теперь – её нет.

Когда я один, то почти всё время готов рыдать. Работа или возня какая-нибудь – отвлекают. Но остановишься – и снова.

На людях не легче, конечно, но приходится держаться. Говоришь, что-то делаешь. Вроде бы имитируешь нормальное поведение. Даже не имитируешь – внешне ведёшь себя как обычно, что-то обсуждаешь. Но внутри – тот же эфир её отсутствия.

Прошло уже больше месяца. Это не ослабевает, а скорее становится всё более отчётливым.

Большинство людей мне или говорили какие-то банальности, пошлости, в том смысле, что что-то совсем не адекватное. Те, что поглубже – просто, что ничего сказать нельзя.

Лиза и Лана сказали почти одними и теми же словами. Год будет очень больно, потом – не так остро. А я не знаю, хочу ли я, чтобы не так остро. Жить, конечно, как-то надо, надо научиться.

Делать её дела – это естественно. Нужно написать эту «Историю болезни». Свои вещи делать труднее. Как плохо, что я не успел – я ведь собирался закончить эту свою параллельность и начать работать с ней. И она хотела. Ещё ведь недели за две «до» мы обсуждали, какую книгу – её – мы будем вместе писать. Про Ньютона или про типы. Решили, что лучше про типы. Она собиралась сопоставлять типы ивритских и русских глаголов.

Позже, когда ничего уже не могла делать, мы читали вместе Библию – это ей нравилось. И она говорила – может быть, вместе напишем грамматику библейского иврита.

А уже в самые последние дни, когда она говорила, что не хочет жить, я напоминал ей и про книжку, и про грамматику. А она отвечала – а зачем? И без нас кто-нибудь напишет.

История болезни

Она заболела в начале февраля. Кажется, второго февраля у нас был в гостях Феликс Рохлин с женой. Уходя, он сказал, что его что-то знобит. Когда он добрался до дома, у него уже была высокая температура. Грипп. А дня через два заболела Лида. В первый день она спала, днём и ночью. А в следующую ночь не смогла заснуть. Обычно она не беспокоилась в таких случаях, считала, ничего особенного, потом выспится. Но и в следующую ночь не заснула. Тут она мне говорила, что надо, наверное, купить снотворное. «Если я не засну, я сойду с ума...».

И вот, что-то мы ей дали на ночь, то ли корень валерианы, то ли ещё чего-то. Мы, как часто бывало во время болезни, спали отдельно, я спал в большой комнате. Но часа в три я услышал, что она плачет, не спит. Я пришёл к ней, что-то, кажется, ещё дал выпить, лёг с ней рядом. И она заснула, хотя спала не очень много, часа три-четыре.

Потом и снотворное слабенькое купил – бромурал, потом уже тазепам. Но она уже ничего не

пила, спала, хотя и не очень много. Температура стала нормальной. Вроде бы выздоровела. Но через несколько дней опять стало чуть хуже, она говорила, что пошла вторая волна гриппа.

Появились какие-то симптомы, которые стали понятны только позже. Она подолгу говорила по телефону. Как-то буквально 2 часа разговаривала с Лялей Френкель, долго и подробно рассказывала ей историю своей «тарификации». Ляле это вряд ли было интересно. И когда я сказал Лиде, что она разговаривала 2 часа, она удивилась и расстроилась.

А история тарификации тоже сыграла свою роль.

Я не помню, когда нам присуждали эти разряды. Наверное, ещё в 92 году, или в начале 93-го. Лиде дали, кажется, 12-й разряд (если не 11-й), хотя по всем статьям должны были дать 14-й, в крайнем случае – 13-й. У нас на работе этот разряд давали тем, кто хотя бы учился в аспирантуре. А она давным-давно кандидат⁴. И вообще работает больше 25 лет.

Но её начальник, Алпатов⁴, почему-то считал, что следует учитывать только её стаж в Институте востоковедения, где она работала всего полтора года.

Кстати, когда она проходила там конкурсы, директор института на совете удивился, что она идёт на должность научного сотрудника, будучи в ВИНТИ старшим. У них тогда было полно вакансий старшего – народ тогда уходил из ИВАН. Но опять же, Алпатов считал, что Лида может идти только на научного, да и ставок у него в отделе вроде бы не было, а хлопотать он не хотел.

Но тогда Лида очень хотела перейти в ИВАН, и хотя её слегка задевало это «понижение в должности», она об этом Алпатову не говорила.

А на этот раз она восприняла этот разряд как унижение. Дело было не в деньгах, деньги её меньше трогали (хотя это был пик нашей бедности), а именно то, что её «прикололи» к этому месту в иерархии. У неё вообще было ощущение, что в профессиональном мире её недооценивают.

У них в отделе Ире Муравьевой и Лене Устиновой тоже дали разряды, которые их обидели, и они ушли потом в РГГУ. А Лида не ушла. Более того, она много об этом говорила со всеми, но на самой аттестационной комиссии промолчала, выплеснув всю энергию и обиду заранее.

Это всё вроде бы забылось уже. Но вспомнилось перед самым гриппом (или даже во время его), когда Рая Розина позвонила и рассказала, что она уходит в РГГУ. Она настояла, чтобы ей дали 14-й разряд, сказала, что на меньшее не пойдёт. И её твердость принесла успех – ей обещали.

Лида вспомнила свою историю и пожалела, что сама не вела себя твёрдо, позволила себя унижить.

А в это время она сама устраивалась на кафедру истории и теории мировой культуры Философского факультета МГУ, на полставки. И она позвонила Романову, тамошнему начальнику, и сказала, что ей очень важно, чтобы в МГУ ей дали этот самый 14-й разряд. Тот обещал (кстати, мы так и не узнали, выполнил ли он своё обещание – потом не до того было). Надо сказать, что этот разговор с Романовым был долгим, она не могла остановиться. Он, вроде бы, в основном слушал и поддакивал.

Потом она позвонила Успенскому (это Успенский, по сути дела, устроил её в МГУ), рассказала ему историю с Алпатовым, пересказала разговор с Романовым. Владимир Андреевич удивился этому её длинному звонку. Он сказал – Лида, я всё понимаю, не понимаю только жанр вашего звонка. Вы мне в жилетку плачетесь или чего-то хотите?

В общем, в её поведении, в картине мира явно сдвинулись какие-то акценты.

Появилось ещё то, что я шутил называл синдромом Иисуса Христа. Она начала всех спасать. Ярче всего это проявилось с Таней Королёвой. Филя, сын Королёвой, давно не учится, сидит дома, почти никуда не выходит. Лида считала, что Королёва губит сына, не уделяя ему внимания, ничего не делает, чтобы вывести его из этого состояния.

Она позвонила Королёвой, так с ней говорила, что та в тот же день приехала к ней прямо с

⁴ Я описываю этот эпизод так, как он тогда воспринимался мною. Но я должен тут сказать, что ни в коей мере не хочу упрекнуть здесь в чём либо В.М.Алпатову. Он был тогда Лидиным начальником. Во время всяких административных передраг – это незавидная должность, и мало ли какие у него могли быть резоны. В конце концов, даже если у него не хватило в какой-то момент рефлексии – не мне упрекать его. Он был Лидиным приятелем ещё по университету. Она всегда (и тогда) очень хорошо к нему относилась, высоко ценила его и как научного работника, и как человека.

А после Лидиной смерти он очень много сделал для её памяти.

работы. Меня в этот день не было, я был в гостях у только что приехавших из Франции Сосинских. Когда я вернулся, Королёвой уже не было, а Лида мне рассказывала: «Ну, я напугала Королёву, теперь она возьмётся за Филю».

Королёва действительно была напугана, потом она мне говорила, что Лида чуть ли не с ножом на неё бросалась. Я думаю, что про нож – это какое-то недоразумение, Лида, небось, держала в руках нож, и при этом возбужденно что-то говорила и могла при этом руками махать... Но Королёва ей говорила – ты что, с ума сошла...

Были и ещё какие-то эпизоды.

А уже потом, когда она была в больнице, я нашёл еврейский календарик-ежедневник, который она использовала, как блокнотик. И в нём был большой список людей, и для каждого – несколько слов, например:

поехать к Королёвой (судя по этой записи, она делала их до приезда Королёвой)

сказать маме: прости!

сказать Наташе: молчи, не думай, что...

сказать Кате: прости! но поговорить с её бабушкой

...

сказать Валере: вернись

сказать дочке Шмайна: прости!

...

сказать папе: прости!

сказать Наде: прости!

сказать Довиду: прости!

сказать Володе: прости (видишь во мне больше, чем)

...

сказать всем русским: простите за то, что я хотела от вас уехать

...

сказать Вере: спасибо, прости

...

12 февраля, в субботу, я опять пошёл в гости – юбилей у моего приятеля. Ох, не надо было идти, и не хотелось...

А к Лиде приходила Тонька. Я вернулся довольно рано, до 11. Они весь вечер валялись и болтали. Тонька, как всегда, засиделась, и легли мы довольно поздно, хотя Лида специально просила меня не поздно вернуться, чтобы раньше лечь.

13 февраля, воскресенье, роковое утро.

Мы проснулись рано, что-нибудь часов в пять-шесть. Первые её слова были: «Я абсолютно счастлива. Я сейчас простыми словами докажу тебе существование Бога».

Она просила меня не вставать, что-то говорила. Была ещё одна тема: «Будет кому в старости подать нам стакан воды... У нас будет ребёнок». Потом она говорила что-то о приёмном ребёнке.

Потом она попросила бумагу и ручку, стала писать.⁵ Говорила – я играю с тобой в такую игру, сейчас поймёшь. Полежи ещё немного, сейчас я тебе всё объясню. Проходило время, она опять что-то писала, какие-то списки. Опять просила полежать какой-то срок, срок проходил, но она просила не вставать.

Потом всё же встали – в уборную. Но она просила опять полежать. Я говорил, что нужно с собачкой погулять, вставать нужно. Она просила – неужели тебе для меня жалко времени, мне очень важно.

Опять писала.

Потом стала говорить мне о моём сыне. Я опять вспомнил синдром Иисуса Христа. Но она говорила серьёзно (и, конечно, как и с Королёвой, была, в общем-то, права). Упрекала меня, что я смиряюсь с тем, что у меня нет отношений с сыном, что я сам виноват.

Я пытался встать – она уже просто хватала меня за руку, вскакивала, не давала мне выйти из комнаты. Плакала, просила подождать.

Были телефонные звонки – она выхватывала у меня трубку. Звонили Леночка Ефимова,

⁵ Листочки эти трудно описать. Их было много, вначале связные отрывки, но какие-то «сдвинутые». Потом отдельные фразы или слова, иногда списки слов...

Наталья Алексеевна, Лана. Каждой из них она говорила что-то обидное. Но ясно было, что она не в себе.

Состояние менялось. Я давал ей тазепам. Вначале по одной таблетке, потом по несколько (Наталья Алексеевна прорвалась-таки ко мне по телефону один раз, она мне и посоветовала про тазепам).

Только вечером я смог позвонить М.Е. и Тоньке, попросил их приехать. Дозвонился до Танечки. Она поговорила с каким-то врачом-психиатром и та позвонила. Удивительно, но врача Лида слушала и потом передала мне трубку. Врач сказала мне, что дело плохо – я и сам видел. Надо госпитализировать. Это тоже не просто. Надо утром вызвать обычного врача, тот даст направление. На ночь посоветовала дать снотворное (я сказал, что у меня есть бромурал) – Вот его и дайте. И корвалола капель 70. Я так и сделал, и она заснула. Было уже, наверное, часов 11 вечера. Только тогда я смог погулять с собачкой.

14 февраля

Утром она проснулась уже в новом состоянии. Вначале – вроде бы поспокойнее, я даже с Рикой погулял. Но уже она как бы отсутствовала, связной речи не было – произносила отдельные фразы. Часто просила пить. Я давал ей что-то поесть – она немного жевала.

Утром я вызвал врача из академической поликлиники. Приехали М.Е. и Тоня. М.Е. боялась подходить к Лиде. Мы с Тонькой были с ней по очереди. Она почему-то хотела, чтобы мы были с ней по одному. Прогоняла то Тоньку, то меня. Больше, конечно, с ней был я.

М.Е. на кухне звонила – куда её везти. Я звонил в неотложную психиатрическую помощь. Они не хотели приезжать, говорили, что стандартный путь – вызвать обычного врача, получить направление в психдиспансер. Подключили Раю, она звонила по своим знакомым. К вечеру договорились, что её могут утром взять в какую-то 17 больницу, где чей-то знакомый врач (правда, тут же уходящий в отпуск). Почти договорились в «Центре психического здоровья» – вроде бы единственном приличном месте в Москве со сравнительно нормальными условиями и порядками. Утром Поливанова должна была приехать на машине и везти нас в одно из этих мест.

К вечеру пришла Третьякова, наш врач из академической поликлиники. Лида её узнала. Третьякова тоже сказала, что надо срочно госпитализировать, дала направление в психдиспансер – но туда только утром.

Состояние быстро менялось. Она уходила куда-то вглубь. Часто очень сильно, до боли сжимала мне руку.

Бред у неё был очень «лингвистический», весь построен на словесных ассоциациях. Каждое слово вызывало какой-нибудь словесный штамп. Почему-то чаще других была фраза – «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Глядя на Риду, говорила – «Собака – друг человека» Но один раз, почему-то, хотела её задушить.

Всё время спрашивала: «Никто не умер? Твоя мама жива? Моя мама жива? Где Валерочка? Она летит сюда? Она не разбилась?»

К вечеру дозвонились ещё до какого-то психиатра. Он пообещал придти поздно вечером, но так и не пришёл.

Ночь. Она вдруг стала вскакивать. Всё чаще и чаще. Я успокою её, она ляжет и через минуту снова вскакивает. Я испугался, что мы так её утром не доведём. И вообще, неизвестно, что будет к утру. Часа в три ночи стал звонить в неотложную психиатрическую помощь.

На этот раз они неохотно, но согласились приехать. И часов в пять утра приехали. Лучше бы я им не звонил. Два санитары – бандиты, не пьяные, но чем-то накачанные, видимо наркотиками какими-то. И врач – вроде бы с приличным лицом, еврей, лет пятидесяти пяти. Но видно сразу, опустившийся человек.

Лиду одели. Увели вниз в машину. Врач остался, что-то записывал. Стал вымогать деньги – «Я устрою, в лучшее отделение». Видно было, что просто вымогает. Деньги я ему дал, и этим бандитам тоже. Просил взять меня с собой, но они отказали. Ссылались на инструкцию – им запрещено. Но было очевидно, что они и сами очень не хотели этого. Но ведь, наверное, если заплатить много, взяли бы. Не догадался.

Отправил её – как в концлагерь, сам. И потом спохватился, что даже не поцеловал её на прощанье, не попытался что-то сказать. Почему? Мне казалось (подсознательно), что к ней уже не пробиться. Сверху – эта оболочка безумия. Она где-то внутри. Но конечно – надо было. Погладить,

что-то сказать. Как-то, каким-то образом, она всё воспринимала. Но внешне – она меня уже не узнавала.

Потом выяснилось, что в дороге они, сволочи, её избили. Она не понимала, куда её везут. Ей казалось – и правильно – что в тюрьму, на муки. Она буйнилась, кусалась. Потом – в первые дни в больнице – она мне сказала со злорадством: «А я одному из них руку хорошо прокусила».

Перевозку эту, конечно, можно понять. Кого они, в основном, возят – алкоголиков, наркоманов, буйных. Но простить нельзя. А главное, конечно, нельзя простить себя. Нельзя родного человека отдавать в такие руки.

Хорошо помню это ощущение – когда её только что увезли, я один в нашей комнате. И пустота – без неё. Вернётся ли она? Может быть я уже остался – один, навсегда?

В больницу можно было звонить только утром, узнавать – где там она, что с ней?

8 июля 1994 г.

Она ушла сама. А я не уследил, допустил, не удержал. Я тупой. До меня всё поздно доходит. Это задним числом, задним умом всё ясно. А почему тогда не осознавал, что происходит? Её состояние.

Одна ошибка у нас была общая. Мы тогда, ещё в апреле решили – она выздоровела. И навсегда. И лекарств ей давали чересчур много. Это-то была правда. Она всегда говорила – и это так и было – что она «очень реактивная». Ей достаточно было бы меньших доз. А ей давали стандартные, и, наверное, ещё с запасом. Лекарства её, наверное, и вогнали в депрессию.

Придя к ZZ⁶, чтобы «завязать» с ним, я принёс ему все оставшиеся лекарства. Он их не взял – вдруг вам ещё пригодятся (что-то, правда, кажется, взял). Потом Лида ходила к этой новой врачихе, Танькиной начальнице. И ей носила лекарства. Та тоже почти ничего не взяла. То есть они-то, врачи, знали, что депрессия возможна. И говорили осторожно. Но я этого не понимал. И Лида не понимала. Мы думали, что она выздоровела.

Потом, когда депрессия начиналась, я не осознавал, что это именно депрессия, продолжение болезни (или следствие лекарств). И было это отталкивание от лекарств – тогда, во время психоза, они её угнетали, а сейчас, в начале депрессии, как-то в голову не приходило, что снова нужны лекарства, уже от депрессии.

Потом депрессия усиливалась – а я, тупой, не понимал, как ей плохо, как тяжело и как это опасно.

Она была в абсолютно ясном сознании. Казалось – ну не хочется работать, ничего не хочется делать. Ну пройдёт. Довела её тогда больница, надо отдохнуть, всё войдёт в норму. Вот пойдём в отпуск, уедем на дачу. Лес, озеро.

Конечно, в ответ на её слова, что ничего не хочется, что она ничего не может делать – говорил что-то. Но не теми словами.

Потом она говорила уже, что ей не хочется жить, не за чем. А я в ответ говорил жалкие слова – это ты болеешь, «охламон» в тебе сидит. Мы выгоним этого «охламона».

И даже в пятницу, когда я уже по-настоящему испугался – всё равно, вёл себя глупо, тупо. Вместо того, чтобы принять какие-то меры, я поехал на работу. Надо было бросить всё к чёрту. Тормозить её. Звонить врачу. Давать лекарства. Не упускать её из виду ни на минуту.

А я, вернувшись домой, расслабился, после того, как она сказала, что звонила Рите Поздняк, чтобы та научила её жить, раз уж она с собой покончить не может. И Рита так хорошо с ней поговорила...

И утром, утром, когда она вставала – не встал, продолжал спать.

Тупой, тупой идиот.

Сам, сам упустил её. А она была для меня всем.

4 июля я был у Риты Поздняк – Лида звонила ей в ту пятницу, накануне. Рита ещё раз пересказала мне тот разговор с Лидой, раньше она мне только по телефону рассказывала. Надо сказать, что её пересказ несколько отличается от того, что Лида мне тогда говорила. Мне Лида как бы смягчила всё, акцентируя то, как хорошо с ней Рита поговорила.

Мне она тогда просто сказала, что позвонила Рите. А я удивился точности выбора – Рита не

⁶ ZZ – врач, который лечил Лиду уже после больницы.

была очень близким ей человеком, но Лида ценила её и понимала, что *это её состояние* Рита может понять лучше, чем кто-нибудь другой.

Вообще тут парадокс этого состояния. Она (Лида) была всё это время в абсолютно ясном уме, в отличие от того периода психоза. Я бы сказал – сейчас – что в обострённо ясном состоянии. И при этом депрессия, т.е. какая-то боль, нежелание, невозможность жить. И от этого, при этой общей обострённой ясности сознания, эта углублённость именно в своё состояние и невозможность рефлексии – видеть других, понимать, как она нужна.

Вернусь к этому разговору с Ритой. Мне Лида пересказывала – Рита так хорошо сказала мне, как-то по-украински – такая молодая дивчина, только в первый раз депрессия.

А Рита мне сказала, что Лида позвонила и сказала: «Я хочу умереть».

Рита говорила – это болезнь, надо потерпеть. Ведь у тебя мама, Валера, Володя. Как они будут без тебя? Ведь ты им нужна. Лида отвечала – это им только кажется, что я им нужна.

Рита посоветовала народное средство: *гидравлический удар*. Надо вскипятить чайник воды и выпить весь этот кипяток. Лида потом мне пересказывала с усмешкой – ну я вскипятила, выпила стакан, но больше, конечно, не стала.

А слова – *гидравлический удар* – я думаю тоже могли сыграть свою роль, она могла их вспоминать утром, когда шла к реке.

В последние дни Лида иногда (не всегда) как-то отстранялась от меня. Два эпизода. Один раз она сказала: «Как жаль, что ты не богатый (не *мы* не богатые, а *ты*). Был бы ты богатый, мы могли бы поехать куда-нибудь». Она имела в виду какое-нибудь экзотическое место. Думала, видимо, что это может её отвлечь как-то. А я и этого не понял и тупо ответил, что мне больше хочется на дачу.

А в последний день М.Е., как это часто бывало, говорила, что она хочет дать нам деньги. А я получил в тот день большую зарплату, вместе с грантом – 500 тыс.

– Зачем ты ему хочешь деньги дать. Он же 500 тыс. получил⁷.

О чём она думала в то последнее утро? Видимо, было невыносимо, ещё хуже, чем раньше. Встала и решила. Хотела, видимо, быстро выскользнуть, чтобы никто не заметил, не остановил. Но сколько сознательных действий – взять проездной, пропуск в институт (чтобы, когда найдут – опознали сразу), фотографию Валеры (чтобы взглянуть в последний раз?). *Не взять* ключи. Не надеть верхней одежды – ни плаща, ни куртки (чтобы легче сделать *это*). А прохладно было, градусов 10, не больше.

Дождаться трамвая. В трамвае ехать до этой остановки, за мостом – минут 15. Трамвай, наверное, пустой, совсем рано. Смотрела ли в окно? Потом, наверное, пошла на мост. Но, скорее всего, не решила с моста – и перила высокие, неудобно, и просто страшно (патанатом в морге сказала мне, что никаких переломов, никаких следов удара о воду, а мост высокий). Пошла на этот берег. Тоже нужно время.

И как? – зашла в воду? Тоже ведь время – дойти до глубины. Вода холодная, бросилась – глотнула воды? Это возможно?

Или всё же с моста, как собиралась раньше?

Последние дни

Чтобы как-то растормошить её, я решил, что нужно поехать на дачу на несколько дней. Она не очень хотела ехать, но согласилась. Мы выехали в четверг утром, 26 мая, на автобусе в 10.10. Погода была гнусная. Но когда приехали, часа в два дня, вошли в лес, солнышко выглянуло ненадолго. Она сказала – всё-таки в лесу хорошо. Но это, наверное, был самый лучший момент в её настроении.

Я, как обычно, топил печку, она готовила еду. После обеда я стал заниматься «полевыми работами». Она вызвалась копать, обычно она этим не занималась, но врач рекомендовала ей физические нагрузки, чтобы «выгонять охламона». Покопала минут 20 – говорит, что-то печень

⁷ В тексте несколько раз упоминаются те или иные суммы денег. Сейчас уже невозможно вспомнить, чему они соответствуют – инфляция, деноминация, опять инфляция... Помню только, что это всё было уже после нашего пика бедности, уже как-то можно было жить. (Примечание 2002 г.)

болит. Пошла полежать.

Потом я пошёл в лес заготавливать дрова, она вызвалась их таскать, сказав как-то радостно – это я могу. Потом, когда я их пилил-колол, она относила их в дом.

Не помню, гуляли ли мы в первый день. Наверное, гуляли, так как я помню три прогулки. И Библию читали каждый день.

В пятницу утром поехали в Лотошино на рынок. Я купил рассаду помидоров. Купили мяса, редиски. Быстро уехали. Днём я сажал помидоры, она опять немножко копала. Гуляли. То и дело моросил дождь. Но как-то выглянуло солнце, мы как раз сидели отдыхали (она уставала и мы часто присаживались отдохнуть). Она сказала – когда солнышко – хорошо.

Ещё в первый день, в четверг, она ходила к Раисе Гавриловне, яйца покупать. Мне говорила, ты бы сходил, на кур посмотрел. А в субботу приехал Валера с семейством, она поздоровалась, видно было, что ей хочется сказать им что-то хорошее.

Не помню когда, но как-то она запела – Окуджаву. Вторую песню о дураках («Дураком быть выгодно, но очень не хочется...»). Не очень весёлую песню, но запела.

В субботу я снова возился на огороде – сажал кабачки, тыкву. Гуляли – сделали по нашим дорогам в лесу круг километра четыре. Погода опять была гнусная. Вечером опять стало холодать, могли быть заморозки – и я долго возился с помидорами, поливал их, чтобы они не замёрзли.

Т.е. я и тут вёл себя тупо, занимался обычными делами, беспокоился о мелочах, об этих помидорах, вместо того, чтобы думать только о ней. И по мелочам был тупым. Один раз, когда мы гуляли, она предложила пойти на болото – она очень любила наши тамошние болота, поросшие мхом. Но моросил дождь, было сыро, я боялся, что промокнем, и отговорил её. И она покорно согласилась. В другой раз мы ходили к деревне, она просила пойти на озеро, а я устал и опять сказал – может, не стоит. И опять она покорно согласилась. Она вообще в последние дни была такая покорная. А я не понимал, что ей хотелось посмотреть на свои любимые места, она так любила это озеро. Может быть, она надеялась, что эти места вернут её к жизни. А может, хотела с ними проститься, посмотреть в последний раз. А я тупо ей отказал.

Уехали в воскресенье на автобусе в 8.40. Обычно, мы уезжали позже. Но она попросила уехать утром. Утром было + 5 и солнце. Но её уже и солнце не радовало.

Поездка ей радости не доставила. Хуже того. Мне кажется, ощущение у неё было – вот и дача радости не доставляет. И Библию мы читали много, как всегда, лёжа. И она часто засыпала. И это тоже её расстраивало – что она и в этом уже как бы не принимает участия, и это уже ей не доставляет радости. Как-то радостей совсем не оставалось.

Приехали домой в воскресенье днём. Ничего не помню про воскресенье, понедельник, вторник. Я, кажется, ходил на работу. А она куда-то ездила. Говорила, что врач ей советовала каждый день куда-нибудь выезжать.

В эти дни, видимо, был эпизод с проездными билетами. Мы собирались в отпуск, на дачу, с 17 июня. Обсуждали, стоит ли ей покупать единый. Лекции читать она кончила, на метро почти не будет ездить. Решили – не стоит, купили на автобус-трамвай, такой же, как мне всегда. Я наменял жетонов на метро, чтобы ей в очереди не стоять.

Потом она очень жалела, что не купили единый. Её раздражало возиться с жетонами. Она мне рассказывала, что когда ездит в метро, показывает свой автобусный билет и её пропускают (раньше она никогда этого не делала, она вообще никогда никого не обманывала, не врала, а сейчас любые мелочи, всякая лишняя суэта утомляла и раздражала её, и она инстинктивно избегала её). А в пятницу, когда она ездила за М.Е., она взяла только этот автобусный проездной билет, не взяла ни денег, ни жетонов. И это – то, что ей не купили единый, – тоже было ещё одно мелкое огорчение.

Да, видимо в воскресенье или в понедельник, она звонила врачу, договорилась на среду, на 1 июня.

В среду у неё была большая программа. Утром к врачу. Потом на работу, деньги получить. И, наконец, в 3 часа в РГУ, на выступление Алика Вольпина. Про Вольпина мне за несколько дней до этого сказали на работе. Я сказал ей, и она очень хотела пойти. Она очень давно знала его стихи – ещё до нашего с ней знакомства. Помнила некоторые наизусть, цитировала иногда.

Мы должны были встретиться прямо на выступлении. Она опоздала – говорила, что не рассчитала, сидела на работе, дожидалась – и в результате вышла поздно. Очень жалела – не увидела Мельчука, Жолковского, они приходили к началу, а потом ушли.

Слушала Алика Вольпина, потом его маму, Надежду Давидовну, которая на неё произвела

гораздо более сильное впечатление, чем Алик. Старушка, 1900 г. рождения, читала стихи, написанные 70 лет назад, почти не сбиваясь. А про стихи Алика Лида сказала, что ей понравилось только то, что и раньше нравилось и помнилось.

Но на «второе отделение» мы не остались, она устала. Вышли, потрепались с Колей Перцовым и Гиндиным и поехали домой.

По дороге или дома она рассказала мне про врача, что та выписала ей азафен – лёгкий антидепрессант, но сказала – можно пить, а можно и не пить. Дома дала мне рецепт (мол, если хочешь, можешь купить).

В четверг она ездила в МГУ – получать деньги за своё преподавание. Раздражалась, что ещё раз придётся ехать в июле – получать за июнь. А мы на даче будем. Ещё одна проблема.

Вообще, проблем – псевдопроблем – было много.

Что мы будем есть – в смысле, продукты надо покупать. Хотя уж продукты купить сейчас не проблема. И деньги есть.

Что мы будем есть на даче? Но на даче сейчас намного проще жить с продуктами, чем раньше. В Лотошино всё есть. И мы там сами с ней покупали мясо и овощи. И она слышала, что возят прямо на участки молоко и молочные продукты. И яйца напротив, у Раисы Гавриловны.

Мне нечего носить. Как-то, выходя с собачкой, она сказала мне – посмотри, в чём я хожу.

Действительно, она надела старенький дырявый свитерок. Я сказал – ну, всё-таки, можно же и другое надеть, вот ведь ещё свитера, в которых ты на работу ходишь. – А эти мне жалко. Хотя их тоже было не так уж мало.

Конечно, в эти последние годы мы ей почти ничего не покупали (как и мне). Самое трудное было время. Но кое-что ей перепало – от Нэмочки, ещё от кого-нибудь. Да и до болезни это не так уж её волновало. Она не думала об этом, когда ездила в Израиль на конгресс. А сейчас как раз деньги должны были появиться.

Я в четверг был дома, пока её не было, написал на компьютере кусочек рецензии на Сосинского. Я обсуждал с ней эту рецензию. Она вообще ценила эту работу Сосинского. Мне нужно было что-то узнать про сходные вещи, которые делали раньше в ВИНТИ. Лида позвонила Азе, чтобы что-то узнать, довольно долго говорила с ней.

В тот же четверг в строгинских аптеках я спрашивал азафен – его, конечно, не было. Я решил – в пятницу куплю в той, тушинской, специализированной аптеке.

Да, в среду или в четверг звонила Валерочка, сказала, что может быть, она поедет в Италию не в августе, как собиралась, а раньше, и по дороге в Италию или из Италии заедет в Москву на неделю, Лида была рада звонку, голосу Валерочки, сама говорила с ней радостным голосом. Но потом сказала мне – «А как мы её будем встречать?» Она всегда так хотела видеть Валерочку. А тут, было видно, что она думает уже не о радости встречи, а о проблемах – как будто это проблемы – как встречать.

Кажется, в эту последнюю неделю она говорила и о работе: «Вот Вера – молодец. Делает такие микроработы. Вот сейчас она про одну вещь пишет. Я всегда это знала, но не думала, что про это можно статью написать. Надо бы нам подумать и делать такие маленькие работы. Ей хотелось делать что-то, что даже сейчас казалось ей посильным.

В последние дни она по несколько раз в день выносила помойное ведро. А то ли в понедельник, после дачи, то ли ещё до дачи, она размораживала холодильник и звонила мне на работу, консультировалась, как и что делать. Ей хотелось делать какую-то работу, которую она могла ещё делать. И такой работы становилось всё меньше.

10 июля

Казалось бы, утрата каждого близкого человека – всегда потеря, горе, несопоставимое ни с чем. Но всё равно, всё это время поневоле сравниваю, сопоставляю и кажется – тяжелее этого быть не может.

У меня это третья смерть. Бабушка, отец, Лида.

Бабушка – это было в 53 году. Я очень любил её. И она меня очень любила. И она сделала для меня не меньше, чем мама. Наверное, какие-то основные нормы в нашей семье – от неё. Но мне было тогда 17 лет. Плохо было, но это было ещё детское восприятие.

Да, я конечно вру, не три, а четыре смерти. Вторая бабушка, Александра Георгиевна, мать отца.

Но она всё же не была близким человеком. Она стала жить с нами (в Казани), когда я уже уехал (или я уже путаю, может быть года за два до моего «уезда» в Москву). Я приезжал, когда она умерла. Но это было, как бы это сказать – не в самой глубине души.

Отец. Я очень хорошо к нему относился, особенно в последние годы. Он был очень хорошим человеком. Но всё же, мы не были очень близки, глубинного понимания между нами не было. Было то, что складывается за долгие годы.

Он болел долго, больше года прошло только между операциями. И то, что он умирает, было ясно уже за несколько месяцев до его смерти. Тяжело. Но и это несравнимо с тем ужасом, что сейчас. Тогда – это не пронизывало всё вокруг. И ещё одно отличие. Он умер – от болезни. От внешней силы. А она – ушла сама. И я – не удержал.

Когда погиб В.Я., Лиде было ужасно тяжело. Он-то пронизывал всю её жизнь. Он воспитал её. Из-за него она такая, какая была.

Он погиб от глупой случайности. Но тоже – от внешней силы. Хотя он и чувствовал – что жизнь кончается, что-то у него внутри кончается, он писал об этом. Но он не думал, не собирался – уйти сам.

А она – сама. Конечно, это тоже болезнь. Но нужно же было понять, бороться с болезнью. Не ей, конечно, понять, а мне, она-то – не могла.

Детские мысли о смерти. Мне было лет одиннадцать. Я шёл пешком в Казань из пригородного дома отдыха, в котором была мама. Дорога – несколько километров, очень красивые места, вдоль Казанки. Людей не видно. Я думал – что будет, когда я умру? Всё будет так же. Эти деревья, река – всё будет так же красиво. Но меня не будет. Детские банальные мысли.

И вот теперь здесь, на даче. Те же места, где мы ходили. Всё так же. Но её нет.

Причины

Конечно, грипп – это спусковой крючок, а не причина, по крайней мере, не единственная причина. Был фон.

Прежде всего, напряжение, с которым она работала последние годы. Потом, после больницы, она сама об этом говорила, цитировала Паулу: – «Нельзя так много работать, ты заболеешь».

После того, как она занялась ивритом, перешла в ИВАН – это было в начале 91 года – она работала, как зверь. Иврит, учебники, ешива, семинары, Библия. Библиотеки – она перерыла все каталоги и все полки в Ленинке, в Иностранке, у себя в институте.

При этом комплексовала. Поздно начала. Не знает арабского, арамейского. Библию не знает наизусть.

Но нашла свою нишу – лингвистика в библеистике (удивлялась, что лингвисты почему-то почти не занимаются анализом Библии). И работала.

Она написала за это время штук восемь статей. Причём почти для каждой статьи – жуткое количество предварительной работы. Смихутные метафоры в Библии (смихут – это конструкция в иврите, типа генитива в русском). Она по конкордансу (Довид ей дал громадный конкорданс, изданный в Риге ещё до революции) выписала все смихутные метафоры из Библии. Суть работы, конечно, в классификации этих метафор, тут она пользовалась своими результатами по семантике русского генитива, но я просто пишу – сколько черной работы делалось. Другой пример – она написала статью о комментариях Раши к Библии – с лингвистической точки зрения. Она прочла все эти комментарии на иврите. А Раши писал специальным шрифтом, это само по себе не лёгкое чтение. И так почти по каждой работе. И осталось ещё несколько незаконченных текстов, некоторые по 20-25 страниц.

Когда у нас появился компьютер, она сидела за ним иногда часов по 11 – 12. Он всего-то у нас с конца прошлой осени, а у неё там штук 50 файлов, они не умещаются на маленькую дискету 1,44 мб.⁸ Там, конечно, не только статьи – есть и анкеты, и письма, но в основном – тексты.

Последние полтора года – лекции по библейскому ивриту в МГУ, в еврейском университете, потом опять в МГУ, на кафедре Иванова.

Причём, всё это была нагрузка не только и не столько физическая, сколько эмоциональная.

⁸ Это было ещё до Word'a, Лида пользовалась старым текстовым процессором MegaWriter, там текст кодировался эффективно. Чуть ли не два байта на букву. Так что 1,44 мб тогда – это действительно много. (Примечание 2002 г.)

Например, прошлогодняя поездка в Израиль и два доклада там на двух конгрессах (по иудаике и по преподаванию иврита). Один доклад по-английски, другой на иврите.

Подготовка докладов, вся эта суета с организацией и оформлением поездки. Она ехала (таким образом) в первый раз, не знала толком всей этой механики (кто будет платить и т.д.). Вся эта израильская бюрократия, десятки писем, звонков, постоянная неопределённость – вроде бы обещают, но ничего не решено. Потом вроде бы решено, но билета нет. Потом билет прямо в аэропорту, за полчаса до самолёта. А ей очень хотелось поехать, и из профессиональных соображений, и потому, что там Валера (до которой просто так не добраться, тогда денег совсем не было).

Такая нагрузка ей была не по силам.

Я помню, когда она защищала диссертацию – я застал уже самый последний этап – она тоже вымоталась. И от физической, и от эмоциональной нагрузки. И не выдержала, болела чуть ли не год после защиты, но тогда обычными болезнями.

Нельзя было столько работать.

Другие фоновые беспокойства.

Валера уехала. Она хотела, чтобы Валера уехала, считала, что ей там будет лучше. Но конечно, это тоже добавляло нервного напряжения. Денег, чтобы съездить туда, нет – тогда совсем денег не было и билеты по нашим тогдашним зарплатам стоили очень дорого. Просто позвонить, и то дорого. И её это мучило и просто унижало – что она не может общаться с дочерью.

Я уже писал про это унижение тарификацией.

И, наконец, ещё одна фоновая составляющая общего состояния – климакс.

Всё это суммировалось – и грипп был спусковым крючком. Запаса прочности не хватило. «Только бы хватило запаса прочности» – эти слова она начала говорить в больнице, ещё когда не совсем пришла в себя. Не хватило.

Ещё об этой тарификации. Вся эта история, кроме всего прочего, обострила у Лиды чувство несоответствия – между ощущением того, что она сделала в науке, что она по собственной оценке из себя представляет, – и тем, как её воспринимает «научная общественность».

Она была очень хорошим, глубоким лингвистом. И при всей своей скромности и постоянном недовольстве собой признавала это.

Действительно, лучшее для того времени образование – отделение, где преподавали П.С.Кузнецов, Илич-Свитыч, Зализняк. И математики – Успенский, Вентцель, Шиханович. К чёткости и ясности приучили.

Ученица Зализняка, лучшего советского лингвиста. У него делала курсовые работы, диплом, он – руководитель диссертации. Учитель, эталон.

Работала больше 25 лет, штук 40 работ и всё – серьёзные, не стыдно и сейчас печатать. Всё это при том, что она почти всю жизнь работала далеко не в идеальных местах. Например, в отделе Белоногова, где нужно было заниматься всякой «информационной деятельностью», и где вокруг никто всерьёз не работал, пили на работе чай, трепались. При этом на работу нужно было ходить почти каждый день, а уйти на семинар в другой институт далеко не всегда позволялось.

Она никогда не входила ни в одну группу (ни в одну мафию, как я говорил). Всегда сама по себе, делала, что хотела, что считала нужным. И не умела «себя продавать». Это, если всерьёз, не о рекламе, а о сути дела, в общем-то, нужное умение, важное для научного работника, – подать свои работы так, чтобы они не только были понятны коллегам, но прежде всего замечены ими.

У нас, в отличие от западной науки, где человек вынужден так или иначе себя «продавать», это было как-то не принято. Это сейчас многие с успехом торгуют собой, главным образом – на Запад.

А Лида вообще писала трудно и как-то избегала «разжёвывать», писать банальности, хотя иногда, чтобы быть понятным, не грех и банальности повторить, чтобы работа «встраивалась в контекст».

И её, видимо, читали плохо, почти не ссылались. Так она всегда считала, что сделала хорошую работу о русском виде, семантической классификации глаголов с точки зрения вида. И Ю.С.Маслову, корифею аспектологии, её оппоненту, нравилось. Но никто из других «аспектологов», даже подруги – Поливанова, Гаврилова, тоже писавшие про вид и вроде бы знавшие её работу, – на неё не ссылались. Не говоря уже об Апресяне, Гловинской, Падучевой. Только Булыгина сослалась – и то как-то странно, не по существу.

И с другими работами было примерно так же. Единственная работа, которую все заметили, – это перевод Ньютона и комментарии к нему. Но кто же на такую работу ссылается. Да и тут я

думаю, что мало кто разделял её мнение, что работа Ньютона *и сейчас* интересна с лингвистической точки зрения.

И книги ни одной она не написала. После больницы, она, как бы оглядываясь, угрызалась: – «Почему у меня нет книги? Столько могло бы быть. И диссертация – почти готовая книга. И тогда так легко было бы её издать – через ВИНТИ, в «Науке». И про типы. А про Ньютона какую книгу можно было написать!»

И действительно, сколько она перевернула в библиотеках за те годы, когда Ньютоном занималась. Только книг 17 века десятки прочла, иногда не замечая, на латыни они, по-английски или по-французски.

Тогда, после больницы, она думала, обсуждала со мной, за какую бы книгу приняться. Посмотрела на диссертацию – всё-таки сейчас жалко тратить на неё время. Про Ньютона? Столько материалов и столько уже готовых текстов. Или всё же приняться за что-то новое? Занимаясь ивритом, она стала лучше понимать, как устроены глагольные типы, интересно было сопоставить семантическую типологию русских и ивритских глаголов. Предлагала мне вместе этим заняться, и я соглашался. Но было уже поздно.

Как-то она дала мне почитать одну из последних своих статей, не помню уже, какую. Кроме конкретных замечаний я сделал одно общее: ты пишешь как-то... И я показал позу – втянул плечи, сгорбился. Она улыбнулась и с грустью сказала: – «А я всегда так пишу...»

Больница

Маршрут этот быстро стал привычным. Она пробыла в больнице 15 дней, я ходил по нему каждый день, иногда по два раза – утром к врачу, потом к ней.

Другой конец Москвы. От метро идти – минут 10. По дороге – вечером, во время свиданий – сразу угадываешь людей, идущих туда же. С сумками, озабоченных.

Первый раз я там был утром, 15 февраля, после той ночи, когда её увезли. Вначале в справку. Говорят – такое-то женское отделение. Больничный двор, дорога вглубь и старый корпус. Чугунная лестница на второй этаж – старая, литая, однопролётная, явно дореволюционная, теперь таких не делают.

В 11 часов – приём у зав. отделением. Дверь в отделение заперта. В комнате перед дверью – ряд стульев откидных, как из старого кинозала. Несколько человек сидит – очередь. Время от времени дверь открывается, посетитель выходит, возникает сестра и зовёт следующего, предварительно спросив его – кто лежит. На одного посетителя уходит минут 15 – 20. Иногда проходит кто-нибудь из персонала – у каждого ключ, открывают и запирают за собой дверь.

Жду минут сорок – час. Наконец пускают и меня. Ведут через другую комнату – там по вечерам свидания – в длинный коридор. Посередине кабинет заведующей. А в конце коридора, далеко, метрах в 20, кто-то время от времени кричит. Кажется – Лида, хотя полной уверенности нет. Я не вижу. И голос – не обычный её голос. Потом я спросил – это она кричала.

Вхожу к врачу – *NN*. Несмотря на русское имя, восточного типа женщина лет 50. Жгучая брюнетка. Властная, уверенная в себе, явно неглупая. И, скорее всего, стерва.

Расспрашивает меня – что и как. Рассказываю, она пишет. Потом я спрашиваю. Говорит – серьёзно, острый психоз. До сих пор не можем успокоить. Лежит она в коридоре. Мест нет.

Понимаю, что лучше бы сразу дать взятку. И *NN* как бы намекала – спрашивала, как теперь платят научным работникам. Но я не умею. И понимаю – что она – опытная стерва и хороший психолог, понимает, что я не умею. И я не даю. Что, конечно, не способствует. Впрочем, может быть и не сильно меняет ситуацию. Вряд ли, получив взятку, она что-то делала бы специально.⁹

Тут опять слышатся крики. Я спрашиваю – да, это она кричит. Её привязывают – она буйная. Я выхожу – но её койка далеко, меня туда не пускают, я почти ничего не вижу. Кажется, она стоит. Ужасно.

Да, я спросил, не нужно ли достать какие-нибудь лекарства. В частности думал, что это тоже может быть формой взятки. Она сказала – ничего не нужно. Но потом – разве что стелазин в таблетках. Я развил бурную деятельность. Достал несколько рецептов, нашёл лекарство во французской аптеке, в следующий раз сказал ей, что достал, показал (она, кстати, не знала французского названия и не была уверена, что это то же самое, хотя я проверял по Мошковскому). И в результате сказала – зря вы деньги тратите, у нас всё есть.

⁹ Описание больницы, здесь и ниже, – это моё тогдашнее (зафиксированное в 94 г.) восприятие ситуации, основанное частично на Лидиных рассказах и на том, что я видел сам. Естественно, что это восприятие могло быть не вполне объективным – трудно ожидать объективности от людей в такого рода шоковой ситуации. (Примечание 2002 г.)

Еду домой. Готовлю передачу. Тапочки, какую-то одежду. Питьё, фрукты. Записку не пишу, только фамилию – почему-то уверен, что она не может читать. Вечером еду снова. Время свиданий с 5 до 7 вечера. Но какое у меня свидание. Она же лежит. Прохожу в эту комнату для свиданий. Там стоят столы, стулья. Больные выходят из своего коридора – их зовут нянечки или сёстры (при этом дверь закрыта на ключ, её каждый раз открывают и запирают снова). Таких выходящих (и посещаемых) больных – 8 – 10 человек за вечер. А всего в отделении 7 – 8 палат, 60 – 70 больных.

Разговариваю с нянечкой. Говорит – Лида спит. Передаю свою передачу. Что-то она относит, что-то ставит в холодильник. В этой комнате свиданий два больших холодильника. Один – для персонала, другой – для больных. Оба запираются: всякие (!) замки, к холодильникам приделаны петли.

Ходил я в больницу каждый день. В среду и в четверг (во второй и в третий день) – передавал, как и в первый раз, питьё, фрукты, еду – понемногу. И – без записки, только фамилию. Нянечки или сёстры – с кем общался – мне говорили, что она часто буянит, кусается, царапается. Обычно она привязана, ей ставят капельницу.

А Лида потом мне рассказывала, что когда она впервые пришла в себя, то не понимала, где находится. Вроде бы больница, но никаких окон. Почему-то рядом дверь и из-за неё звук швейной машинки. Почему швейная машинка? Значит не больница. Оказалось потом, что за дверью кастелянша, которая часто шьёт. И мучители какие-то. Привязывают. Рассказывала, как при этом всё затекает, нестерпимо больно.

Потом сознание прояснилось. Похоже, что больница. Ходят больные. Какая-то лесбиянка приставала, предлагая свои услуги. Какая-то девочка рядом, добрая, но сумасшедшая – вокруг действительно сумасшедшие, сумасшедший дом.

Сёстры – сказать грубые – ничего не сказать. Говорят только матом. «...А ты, блядь, если будешь кочевряжиться, я тебе такое всажу, что быстренько на тот свет отправишься...» И действительно: могут всадить.

А она, ещё не совсем придя в себя, пыталась качать права – спрашивать, что ей колют, какие таблетки дают. Никто, естественно, не говорил. Надо и колют. Она протестовала, не давалась, кусалась, царапалась.

Нельзя узнать, сколько времени. Ни у кого из больных нет часов. И нигде в отделении нет часов. Единственные «временные сигналы» – завтрак, обед и ужин. А у неё в коридоре даже окна нет – день? ночь? – не поймёшь.

22 июля

Был ли я с ней (мы с ней) счастлив(ы)? Хочется ответить другими словами. Мы жили нормальной, полной жизнью. Может быть норма – в правильном смысле этого слова – это высшая степень счастья. Хотя у каждого из нас была и своя жизнь – своя работа, свои друзья, – мы были близки, как только можно быть близкими.

Ссорились ли мы? Конечно, бывало. Но, в общем-то, по мелочам, от какого-нибудь локального непонимания, от обиды – на кажущееся (или действительное) невнимание.

Наверное, я мог бы доставлять ей больше радостей. В общем-то все или почти все наши радости – поездки (в частности, «свадебные путешествия»), гуляния, походы в кино, в театр, на выставки – всё это было по её инициативе.

Прошло больше полутора месяцев. И всё равно, каждый день перебираешь в памяти – как всё было, что не сделал, что нужно было ей сказать в эти дни, что сделать. Уйти сразу в отпуск, позвонить врачу, заставить пить лекарства. Что толку перебирать? И невозможно остановиться, не думать об этом. И слёзы капают. Поздно.

В эти дни М.Е. позвонила Рожнову. Тот позвонил в больницу, добрался до *NN* и произвёл на неё впечатление – она потом всё время говорила о Рожнове.

В пятницу утром я был у *NN*. Первое, что она сказала, что ей звонил Рожнов – «.. Такой ученый, такой человек». Сказала, что Лида слегка пришла в себя, она с ней беседовала. Состояние тяжёлое. Что-то опять у меня спрашивала, записывала. Я спросил, какой диагноз? – «Диагноз – ну что вам диагноз, ну какая-то форма шизофрении...» Конечно, ещё никаких свиданий. Я сказал, что купил этот стелазин. – «Ну зачем вы деньги тратите?»

Вечером я приехал с передачей. Был в полной уверенности, что Лида ко мне ещё не в состоянии выйти. Но нянечка, ничего не зная, крикнула в коридор – «Кнорина».

И вот, через какое-то время я увидел, что по коридору её под руки ведут ко мне – она еле идёт. Подошла, мы обнялись. И она прежде всего сунула мне в руку записку. Сказала – потом прочитаешь. Первые её вопросы – как бы в продолжение старого бреда: «Никто не умер? Моя мама жива? Твоя мама жива? Валерочка не приехала?» Я её успокоил. И она сразу же стала абсолютно нормальной. Рассказывала, как в больнице. Что из врачей тут – только NN (или Херувимовна, как Лида её окрестила), больше никого нет. И что она только один раз с ней разговаривала. Говорила, что помнит, как везли сюда. Как скверно тут. Сёстры ужасно грубые. Привязывают. Как лежала привязанная, просила принести судно, а ей говорили, делай под себя, блядь, ничего с тобой не будет... Вначале не могла ходить, еле умолила, чтобы баночку какую-нибудь дали – пописать. Потом стала доползать до туалета. Он один на весь коридор, два унитаза на 70 человек. Грязь жуткая. Раньше в этом помещении было отделение для призывников, подозреваемых на психовость. И они тут всё разнесли.

Говорила, что передачи мои получала. Упрекала меня, что я не писал ей записки, только фамилию её (я-то думал – по рассказам Херувимовны – что она практически без сознания). Спрашивала, как долго она здесь. Мы составили с ней вместе «календарь болезни», ей было очень важно «привязаться ко времени», выйти из этого провала, как бы вернуться к нормальному восприятию времени. Просила меня принести ручку и бумаги. Кажется, я тут же дал ей, не помню уже.

Жаловалась, что не было стула ни разу. Просила слабительного. Чернослив, который я ей посылал, не действовал.

На следующий день её опять привели под руки. Когда она дошла до меня, ей стало плохо, она буквально сползла на пол. Прибежала сестра, сделала укол, сердечный – кардиамин.

Сели. Она была уже совсем «адекватной» – так они (психиатры) говорят. Попросту – абсолютно нормальной, только дико слабой. Как будто её изжевали всю.

Пришла Тонька, чуть опоздав – я звонил ей накануне и мы договорились придти вместе. Сидели, болтали всё время свидания.

Следующий день. Воскресенье. Я был один. И она «разматывала» весь свой бред тех дней.

Ей казалось, что Успенский поручил ей подобрать команду для какого-то полёта, то ли на космическом корабле, то ли ещё куда-то. И она писала, подбирала списки.

Потом она подбирала имя для нашего ребёнка. То ли приёмного, то ли родиться должен был. И страх, что если назовет какое-то имя, то человек с таким именем умрёт. И от этого страх – не умер ли кто-то из близких (это уже был какой-то «перевёртыш» еврейской традиции – что называют детей в честь умерших близких).

Игра, которую она почему-то называла «Старуха, дверь закрой». По какому-то анекдоту о старике и старухе, которые с помощью мешочков то ли с камушками, то ли с бобами, признавались на старости лет в своих изменах. Или она склеила этот анекдот со сказкой про старика и старуху, кто первый заговорит.

Не помню уже, что было в понедельник. А во вторник, 22, почему-то не с утра, а во внеурочное время, вечером, принимала Херувимовна.

На этот раз я пытался предложить ей деньги. Она, естественно, отказалась. Как она потом говорила Лиде, она считала меня полным лопухом. Какие можно со мной иметь дела?

Вообще она потом говорила Лиде, что удивительно, как она живёт с таким дураком. Конечно, мол, мною легко вертеть, я полностью «под каблуком». Но она (Лида) ведь умная женщина, ей надо кого-то поумнее.

А мне, на этом приёме она (Херувимовна) сказала, что Лида скандалила, покусала сестру, ей сделали укол и она спит, и не может выйти на свидание.

Но когда я, действительно как лопух, поверив Херувимовне, давал няньке передачи, она то ли крикнула Лидину фамилию, то ли Лида просто услышала. И крикнула мне, что придёт.

И пришла, очень возбуждённая этим скандалом, и рассказала мне о нём. Когда ей утром делали уколы, она стала «качать права» – спрашивала, что ей колют и дают. Требовала врача – та уже очень давно не приходила, видимо, с прошлой недели. Лида наивно считала, что врач должен ходить каждый день (по крайней мере, каждый рабочий день).

Она, видимо, не давала делать укол, тогда её стали привязывать, она стала кусаться. Сестра ей

кричала: «Я тебе, блядь, сейчас такое вколю, что сразу окачурешься».

А Херувимовна либо так и не пришла, либо пришла, когда уже Лида её не воспринимала.

В общем, Лида говорила – домой, здесь жить нельзя. Врачи не смотрят, колют и дают непонятно что. На состояние никто внимания не обращает. А ей просто физически очень плохо. Кроме слабости, дикая аллергия, во рту язык почти не действует – опух, воспалена и вся полость рта. Стула не было чуть ли не с самого начала. Условия ужасные. Персонал – особенно сёстры – жуткий. И т.д. Я «пошёл на поводу» – стал думать, как бы её выволить, хотя, естественно, очень боялся этого. Я же не знал, что происходит в таких случаях, насколько можно быть дома, насколько нужны уколы и т.д. И если выписывать, то как?

Звонил какому-то врачу. Тот на меня орал, говорил, что нельзя. То, что я ему рассказал про больницу, было для него нормой. Говорил, как опасно выписывать. Но совет, как выписывать – дал. Лида не подписывала бумаги о согласии на пребывание в больнице. И этот врач говорил, что это ляп администрации (Херувимовны) и нужно упираться на это. На самом деле он, видимо, тут отстал от нового закона по психиатрии. Этот закон только что «достиг» больниц, был ещё внове для администрации, и они его боялись. А по нему без согласия больного держать его в больнице нельзя. Не то, что раньше.

Я позвонил на всякий случай и Шихановичу – про права человека – и он мне про этот закон объяснил.

В общем я, с сомненьями большими, всё же считал, что раз ей там так плохо (а я считал, что она в целом здраво оценивает обстановку), то надо выписываться. И как-то пытаться дома лечиться. Хотя непонятно как.

На следующее утро я позвонил Херувимовне и сказал, что Лида не хочет оставаться, и что я хочу её взять. Она стала верещать, пугать меня. Но видно было, что и сама чем-то не то что напугалась, но и на неё эта решимость подействовала. В результате мы договорились, что я приеду, мы устроим совместную встречу – втроем – и на ней всё решим.

И вот – «очная ставка». Лида пришла на неё какая-то расслабленная, совсем не такая, как накануне вечером. Не исключено, что ей утром что-нибудь вкололи. Херувимовна стала говорить, что нельзя домой и спрашивала, какие претензии. Лида как-то со всем соглашалась, сказала, что хотела только узнать, какие лекарства. Херувимовна перечислила какие-то названия – Лида их как-то даже не слушала.

Лида явно не настаивала на выписке, и я, хоть и понимал, что её охмурили, почувствовал некоторое облегчение – всё же страшно было брать её домой. NN сказала, что переведёт её из коридора в палату, говорила, что, конечно, она всё время будет смотреть. Про язык сказала, что это обычная аллергия на лекарства, у всех бывает. Сказала, что к 8 марта, если всё будет хорошо, то разрешит уехать домой на несколько дней, а потом посмотрит, как идут дела, и скоро выпишет. Лида до такой степени расслабилась, что даже подписала эту бумагу о согласии на госпитализацию.

В процессе беседы выяснилось, что в отделении дифтерия, у какой-то только что поступившей больной, из соседней с Лидой палаты. И в тот же вечер начали карантин – т.е. отменили свидания. Передачи, слава Богу, принимали. Мы виделись уже только на расстоянии – она в дверях своего коридора, а я в дверях отделения, между нами комната свиданий.

Началась переписка. Я только сейчас понял, что это были наши последние письма друг другу. Надо их достать.

Что-то я уже не помню. Кажется, всё-таки, по крайней мере одно свидание после разговора с Херувимовной ещё было, хотя я и писал письмо, но она его при мне читала и комментировала. Надо достать письма. Но потом было несколько дней без свиданий, только с письмами, или, как я уже писал, свиданий через комнату.

Пока Херувимовны не было, не было и никакого другого врача. Мы уже решили, что будем добиваться возвращения её домой. Нашёлся врач, ZZ, наш сосед по Строгино (он работал в одной поликлинике с Ксеньей, Лидиной двоюродной теткой). Он сказал, что готов вести Лиду, если я достану все нужные лекарства, шприцы – дал рецепты. Я за эти несколько дней объездил кучу аптек, всё купил.

Уже к вечеру или на следующий день (после этой очной ставки – общего разговора) у Лиды это умиротворённое состояние кончилось. Херувимовна, может быть, и появилась как-то на несколько минут, но потом исчезла, и «врачебное наблюдение» кончилось. А в пятницу, 25 февраля,

Херувимовна вдруг вообще уехала на 4 дня. И всё отделение, 70 человек, на 4 дня осталось без врача (у некоторых больных был «приходящий» врач – он их навещал, но остальных больных не смотрел). А все эти «условия» советской психбольницы, матерящиеся сёстры и прочие прелести остались. Лида, например, рассказывала, что некоторые больные брали на себя «функции» надзирателей и с садистским удовольствием привязывали других больных, более слабых, за какие-то с их точки зрения «провинности».

Это исчезновение Херувимовны укрепило нас в мысли, что оставаться в больнице не только бессмысленно, но и опасно. Психически Лида была уже несколько дней абсолютно нормальна – буквально после тех первых дней, когда они сняли острое состояние, и она пришла в себя. Она писала письма Валере, давала мне поручения, что сделать, что нужно послать с Наташей, уезжавшей в гости к Валере. Но физически она была даже слабее. И масса проблем – язык опух, всё во рту раздражено. Апельсины есть не могла – больно. Стул в больнице за две недели был два раза. И слабость, жуткая слабость. Температуру смирели один раз за две недели – и она была 37,5. Никого это, естественно, не взволновало, кроме нее. Она как раз умудрилась мне позвонить. Я позвонил дежурной сестре, попросил вызвать врача. Сестра что-то промычала в ответ, но врача, конечно, не вызвала. Подумаешь, температура.

23 июля

Невосполнимая утрата... Какое-то заштампованное словосочетание. Но по-другому не скажешь. Я всегда отмечал людей, переживших такую утрату.

Успенский – жена умерла, когда ему и ей было 50 лет.

Таня Янко – муж погиб совсем молодым.

Лида сама – Владимир Яковлевич. Но об этом я уже писал.

Нэмочка – сын погиб на войне в Ливане.

Пара тихих людей, ездивших в нашем автобусе на дачу. У них сын погиб в армии, в Азербайджане или в Армении.

И вот я теперь.

«Профсоюза» такого нет. Просто метка – не скроешь. Лишаешься того, что было частью тебя, всего твоего существования. И навсегда остаёшься как бы инвалидом.

Я пишу – и слезы каплют. И текст соответствующий. Плач.

Вот сейчас – утро, то, что называется чудесным, на небе ни облачка, солнце, тепло. А думаешь только о ней – что ей это радости уже не доставит. И мне – какая уже радость.

Херувимовна приезжала 1 марта. Мы с Лидой договорились, что в этот день постараемся выписать её – будем настаивать на выписке под расписку, узнали, что существует такая процедура.

1 марта я приехал в больницу с утра, заранее написав заявление о выписке Лиды. Херувимовны ещё не было – но сказали, что она вернулась из своей поездки и придёт.

Я ждал её в предбаннике, и как только она пришла, сказал, что хочу забрать Лиду. Она разозлилась, стала на меня кричать. «Вы же умный человек, а делаете такую глупость...» Я попытался объяснить, что Лиде здесь плохо, я нашёл врача, купил все лекарства, взял отпуск, буду с ней неотлучно... Она сказала, что не выпишет – карантин дифтерийный, выписка запрещена.

Я пошёл к главврачу. Дал ему заявление о выписке, рассказал, как и что. Он сказал, что позвонит...

Вернулся в отделение, с трудом пробился к Херувимовне. Она опять отказала – сказала, что будет созывать комиссию по выписке, что выписать так она не имеет права и т.д. Снова пошёл к главврачу – того уже не было. Дождался заместителя. Женщина симпатичная, усталая. Всё ей рассказал, она меня выслушала, попросила выйти из кабинета, стала звонить Херувимовне, спросила, в чем дело. Потом сказала – ваша больная, вы и разбирайтесь, но по новому закону держать вы не имеете права. Не прямо, но в общем она была как бы «на нашей стороне». А за это время Лида добилась встречи с Херувимовной и обо всём договорилась – она нашла форму: «Тут такие ужасные туалеты, я понимаю, что вам денег не дают. Я хочу помочь – дам денег, пусть хотя бы два унитаза...». И они – сторговались.

Я прошёл к Херувимовне, Лида там была. Херувимовна ничего уже не говорила о карантине, о том, что нужна больница. Отправила Лиду на укол галоперидола – месячная доза. Продиктовала

мне текст расписки – что я беру Лиду на свою ответственность (хотя и сказала, что это формальность). Потом она говорила, что при такой эпидемии дифтерии – у неё уже два случая было – надо бы половину больных выписать, тех, которых можно перевести на таблетки.

Написала мне список лекарств, которые нужно принимать, с дозировками.

В общем, выписала. Сказала, что нужно будет на следующий день приехать за больничным (с деньгами, так сказать). Всё, вроде бы, в порядке – но склад закрыт, одежду уже не дадут. Значит, «своим ходом» – просто ловить машину – ехать уже нельзя.

Я бросился звонить Довиду, чтобы он приехал и привёз одежду (М.Е. была у нас – можно было или съездить к нам за Лидиной одеждой, или к Наде). Он заехал к Наде.

Но ему на это надо было больше часа. Лиду уже выписали. Она вышла в предбанник. Была уже очень нервной, на грани истерики. Но это была обычная истерика в такой ситуации. Целый день «борьбы» за выписку, она дико перенервничала.

Она ругала меня, что я не привёз одежду. Хотела, чтобы я нашёл машину, ехать в чём есть – в машине, мол, не холодно. А сама мёрзла в этом предбаннике. Я дал ей своё пальто – она нервничала, что я простужусь и обязательно заболею. Была на грани срыва. Говорила, что Довид не приедет вовремя, на него нельзя полагаться (он и в самом деле всегда может опоздать на час и больше). Но, слава Богу, он приехал вовремя, было уже часов 5 вечера. Или понимал, что это важно, или просто торопился – у него после была какая-то лекция.

Поехали. Она расслабилась. Была очень нежна и с Довидом. Говорила – можно тебя погладить? Заехали к ним – мы оставались в машине, он заходил домой.

У нас дома были уже, наверное, часов в семь. Она пошла в душ, мы что-то поели и уложили её. Слава Богу, наконец-то дома...

Вечером, поздно, пришёл ZZ. Посмотрел на неё, посмотрел на предписания Херувимовны, сказал, что «так тоже можно» – он явно собирался давать несколько иной набор.

А Херувимовна выписала:

	Утро	День	Вечер
Аминазин	0,025	0,025	0,05
Галоперидол	0,015		0,015
Азолептин	0,025		0,025
Неулептил	10 кап	10 кап	10 кап
Циклодол	2 г	2 г	2 г

И месячный укол галоперидола – 0,05

Неулептила я не достал, аминазин вскоре заменили на тизерцин, который я купил заранее, по указанию ZZ. Флакончик азолептина дала Херувимовна – так что этот набор Лида принимает. На следующий день я съездил в больницу к Херувимовне – Лида написала ей благодарственную открытку, я купил цветы и передал это с 70 долларами. Она для приличия что-то проговорила и всё взяла, явно довольная. А я с удовольствием ей это всё отдал – мы как бы платили за то, чтобы расстаться с этим местом.

Я получил Лидины вещи, бюллетень – Херувимовна считала, что она оказывает большую услугу, написав в бюллетене что-то неопределённое (*астенический синдром?*) и попросив сестру поставить смазанную печать, чтобы не разобрать – какая больница.

В общем, с Херувимовной и с больницей расстались.

Но надо рассказать ещё одну историю.

Попытки поссорить нас

В последний день, когда Лида разговаривала с Херувимовной, та вдруг почему-то стала ей говорить – как она может со мной жить. Она – умная женщина, а я – такой лопух. Мы совсем не пара и т.д.

А мне, в свою очередь, когда мы с ней были вдвоём, пела другую пластинку – какие бывают теперь молоденькие девочки. Как они делают всё то, что раньше считалось развратом, какие удовольствия доставляют.

Ей почему-то хотелось нас развести. Замечательная задача для врача-психиатра,

«пользующего» пациента. Но я не о «моральности» её позиции. Интересно – почему ей этого хотелось. Наверное, мы своим отношением друг к другу как-то её травмировали. Так не бывает – не бывало ни с кем из её знакомых, ни среди её пациентов. И не должно быть.

Дома – выздоровление. Март

Итак, с 1 марта – дома. Добились. Всё привычно, всё удобно. Надо – выздоравливать. Она была совершенно нормальной – как и в больнице – но чувствовала себя плохо. Начали «борьбу» по всем фронтам.

Желудок. Почти неделю не было стула. Ещё с вечера, 1 марта, она выпила две таблетки глуксены. Не помогло. На следующее утро, 2 марта, М.Е. сделала ей клизму. Как-то не очень удачно. Потом я несколько раз этим занимался, очень гордился, что делал это правильно и добивался успеха. Неделя «борьбы» на желудочном фронте – и всё наладилось. Правда, профилактические меры продолжали всё время – почти до последнего дня она каждый день ела чернослив с курагой, иногда пила глуксену. Даже в последний вечер – на ночь выпила.

Рот – был воспален язык, всё небо, трудно было есть, а, скажем, апельсины она просто есть не могла. Стали смазывать рот облепиховым маслом. Вроде бы чуть лучше стало. Но со временем, а потом – с уменьшением доз лекарств постепенно налаживалось и это.

Но **слабость** была жуткая. Она лежала весь день. И говорила, что вечером с облегчением чувствует, что день кончен, и можно уже спать. Я помню, у меня такое ощущение бывало в некоторые из моих почечных приступов. И уже рефлексия – радуешься, что день прошёл, что можно спать, но ведь это – день твоей жизни.

Бред. Первые дни – не в самые первые дни дома, а начиная лишь с 3 марта – ночью несколько раз был бред. Мне показалось, что это от лекарств. Она как бы хотела и не могла проснуться. Бред был чем-то похож на то, что было перед больницей. Я на ночь стал чуть снижать дозу, и он (бред) кончился. Я сказал ZZ, он удивился, но вроде бы моя гипотеза показалась ему правдоподобной – когда я сказал, что при снижении дозы бред исчезал. Вообще дней через десять дозы несколько снизились, по-моему, по забывчивости ZZ, он не помнил, что было назначено, а мы стихийно всё хотели снизить – отменили утреннюю дозу в дни поездки на анализы и т.д.

Температура. В первые дни, несмотря на жуткую слабость, мы даже чуть-чуть гуляли, но потом температура поднялась. Вначале небольшая, потом – до 38, если не больше. Я говорил ZZ, он отвечал – это не по моей части. Хотя, наверное, был не прав, основной причиной температуры, скорее всего, были эти лекарства.

Надо сказать, что аппетит у неё был неплохой. Я покупал печёнку говяжью, ножки Буша, фрукты – всё она ела с удовольствием. Чтобы набираться сил, заваривал каждый день шиповник, орехов накупил, кураги и чернослива – всё это регулярно каждый день употреблялось.

А потом, во время депрессии, к еде она стала равнодушна. Не то, что аппетит стал плохой – просто равнодушна. Даже, по-моему, своих любимых яиц ни разу не варила.

Но курагу и чернослив ела регулярно – для желудка. Регулярно пила витамины. А вот ноотропил начинала пить и часто забывала.

Почти сразу вызвали Третьякову, нашего участкового врача. Почему-то долго это не удавалось, она ездила в другой район. Потом она приехала, посмотрела, послушала, велела делать анализы крови и мочи. Но как – слабость такая, что до поликлиники не доберёшься. А на дому – пытались узнавать – не нашли таких служб, которые бы брали кровь на дому.

Я нашёл Лидину шпаргалку – о её состоянии – видимо, для врача.

Заболела – 3 – 5.02

Бессонница – психоз – 13.02

Больница – 15.02 – 1.03

t° ~38 – 1.03 – 11.03

антибиотики 11.03 – 16.03, t° – 37,2

снова t° ~ 38 – 17.03 – 18.03

снова t° ~37,2 – с 20.03

снова t° ~ 38 – с 26.03

снова t° ~ 37,3 – 28.03

Тут, насколько я помню, тоже несколько неточностей. Температура 38 ° началась всё-таки не 1

марта, а дня через два-три.

Антибиотики с самого начала советовал пить ZZ, а Третьякова хотела вначале найти причину, а потом уже пить. Это два разных врачебных подхода – мы выбрали вначале третьяковский, а потом «силовой», ZZ. Наверное, надо было в данном случае с самого начала выбрать силовой. Сразу же, как она начала пить антибиотики, температура упала и состояние слегка улучшилось. Потом снова была 38°, но недолго.

Через какое-то время поехали-таки делать этот анализ крови к Ксене, двоюродной тётке, она работает в поликлинике в Тушино. До сих пор с содроганием вспоминаю эту первую поездку. На двух трамваях надо ехать. Но с трамваями что-то случилось, ехали на автобусе как-то в объезд. Ей и сидеть-то трудно, а тут и стоять пришлось. И обратно – трамваи не ходили. Пешком пришлось пройти остановки две – машину пытались ловить, но тщетно.

А анализы плохие – РОЭ – 50, гемоглобин плохой. И другие показатели тоже.

Повторный анализ, дней через 5 – через неделю. Получше – РОЭ – 37. Сделали и третий – уже в академической поликлинике. Результатов, по-моему, так и не узнали, температура к тому времени спала и в поликлинику уже не ездили. Тогда уже лекции начались, а лекции и поликлиника – это было бы уже слишком.

Третьякова испугалась анализов и стала подозревать рак. Вообще велела приходить в поликлинику и «исключать» (это такой диагностический метод – когда диагноз не ясен, предполагать возможные причины и исключать их одну за другой).

Вызвали частного врача (я уже не помню, в какой последовательности всё это происходило, частный врач был, наверное, у нас числа 10 – 12 марта).

Врач и мне, и Лиде понравился. Долго и внимательно смотрел Лиду. Сказал, что, скорее всего, никаких специфических причин этого состояния нет.

– Конечно – надо исключить это, это и это... Но, наверное, просто... всё у вас разлажено. Вы – как расстроенный телевизор. Просто надо приходить в себя. И снизить нормы этих лекарств. По крайней мере – вдвое. И врачу своему – не говорите об этом.

Нам тоже так казалось, что причина этой слабости, температуры, крови – в том, что было, в «лекарствах». Мы снизили нормы, но ZZ сказали (честные люди!). Он на нас наорал «Вы делаете преступление, так нельзя! Если вы не будете меня слушать, я не могу брать на себя ответственность!»

Он был искренне убежден, что снижать дозы больше нельзя (он, вроде бы, за неделю до этого и так немного снизил, причём, кажется, просто по ошибке назвал дозу меньшую, чем раньше, а мы как-то её утвердили).

Психологически он вёл себя правильно и заставил нас вернуться к этим дозам. Но по существу он, скорее всего, был не прав. И Херувимовна, и он действовали по какой-то грубой перестраховочной схеме и явно назначали эти лекарства с избытком, без учёта индивидуальности. А Лиди очень реактивна. И лекарства эти угнетали её, добавляли слабость, провоцировали температуру.

А потом та же Херувимовна сказала, что эти лекарства нельзя принимать при температуре. Но в больнице температуру просто не мерили, а при выписке, назначая эти лекарства, она забыла сказать об этом...

Я пытался и с другими психиатрами консультироваться. С Рожновым и ещё одним, с которым связывались ещё тогда, когда Лиди в больнице была, через Галю Людмирскую. Но оба они сказали, что дозы, вроде бы, небольшие.

Лекции

Ещё в больнице Лиди волновалась, что будет с её лекциями в МГУ.¹⁰ Я сказал ей, что сообщил Романову, заместителю Иванова, который управлял кафедрой, что она в больнице, и тот сказал, что она может начать лекции, когда придёт в себя – а что ему оставалось делать.

¹⁰ Речь идёт о лекциях по библейскому ивриту на кафедре истории и теории мировой культуры Философского факультета МГУ. Я уже писал об этом раньше – ещё до болезни Лиди устроилась туда на полставки. Кафедрой руководил Вяч. Вс. Иванов. Кажется, это В.А.Успенский рекомендовал ему Лиду. Но к этому времени Иванов уже, в основном, жил в Калифорнии, его заместителем по кафедре в МГУ был В.Н.Романов. (Примечание 2002 г.)

Когда Лида вернулась домой, она сразу же позвонила Романову, и они договорились, что первое занятие будет назначено сразу же, как она сможет начать.

Она очень хотела читать, и мне казалось, что раз она так хочет, то, наверное, лучше читать, хотя, конечно, трудно было представить, как она туда просто сможет добраться.

Всё-таки после 15-го ей стало чуть лучше, хотя слабость была ещё жуткая. И она договорилась, что начнёт лекции 18 числа. Я ей предлагал первую лекцию прочитать за неё, говорил, что справлюсь. Но она этого не допустила.

Первая лекция была 18 марта.

Чтобы ехать на первую лекцию, мы заказали машину, шофёра Лёничку, который когда-то работал у Довида. За 40 тыс. руб. он отвёз нас на лекцию, ждал нас там и отвёз назад. Ехать городским транспортом сил у Лиды не было. Может быть, она бы и доехала, но читать уже не смогла бы. И так она всё время сидела за столом, и хотя нервный подъём позволил ей провести это занятие, энергии у неё было немного. Слава Богу, первое занятие продолжалось недолго – это было как бы первое знакомство.

На следующую лекцию мы уже поехали на метро – она была чуть пободрее. И занятие продолжалось уже дольше – по расписанию у неё была сдвоенная пара.

Потом я ездил с ней на лекции, наверное, раза 3-4 в апреле, состояние её постепенно улучшалось. Но на эти её лекции напору, энергии, конечно, у неё было намного меньше, чем раньше.

И в слушателях она слегка разочаровалась – они всё же были не лингвисты, а философы, и ей с ними было не так легко найти общий язык. Они не совсем понимали, чего они сами хотят от этих лекций. Но всё же лекции доставляли ей радость, вызывали какой-то подъём. И хотя потом, в мае, когда началась депрессия, она иногда жалела, что начала их, и сомневалась, продолжать ли их на следующий год, я думаю, что всё же это было правильно, что она их читала. Хотя – теперь – что толку говорить о том, что было правильно. Как говорил Гессе – это планирование прошлого, самое бессмысленное занятие.

Апрель

Апрель был месяцем выздоровления. 1 апреля поехали к Херувимовне. Она ещё при выписке назначила приехать через месяц, чтобы сделать ещё один месячный укол галоперидола.

Приехали – она, кстати, удивилась, что мы приехали вдвоём – зачем? Спросила – работает ли Лида, и удивилась, что она ещё не ходит на работу. Спросила, как Лида себя чувствует, узнала про температуру – зачем же Лида принимала лекарства во время температуры. Их нельзя принимать при температуре. Могла бы и раньше предупредить.

Ещё деталь. Она спросила, что Лида принимает. Лида ответила – то, что вы сказали, вот только неупелтил не достали.

– А зачем вам неупелтил, он совсем вам не нужен.

Лида не стала ей говорить, что она сама же и назначила.

Послала Лиду к сестре делать этот месячный укол. Лида уверяла, что сестра наполнила шприц, смазала место укола, но укола самого не сделала! Она допускала, что не заметила этого, но думала, что скорее всего сестра почему-то схалтурила и не сделала укола.

Главным итогом поездки к Херувимовне было то, что она резко снизила дозы – отменила все утренние и дневные лекарства, кроме циклодола, а на вечер назначила

Тизерцин – 0,025.

Азалептин – 0,012.

Галоперидол – 0,015 1 табл.

Циклодол – 3 раза в день по 2 табл.

Думаю, что ZZ сам не решился бы на такое радикальное сокращение доз, но узнав о решении Херувимовны, сразу с ним согласился. Она для него была авторитетом. Со снижением доз самочувствие сразу улучшилось, и температура почти совсем исчезла. Вскоре, по-моему, её и мерить перестали.

И, по-моему, в свою поликлинику Лида перестала ходить, хотя не всё ещё «исключили».

Сил прибавилось, Лида начала что-то делать дома, стала ходить к себе на работу в ИВАН (понемногу – раз в неделю). Набрала на компьютере свои стихи.

Хотела было что-то сделать со своими записями о В.Я., но, по-моему, так и не взялась за это. Надо посмотреть в компьютере – там есть файл «Папа».

Потом я обнаружил тетрадь с двумя рукописными текстами, написанными, видимо, в этот период. Они опубликованы в Танечкиной книжке про В.Я. и Лиду.¹¹ По-моему, это лучшие тексты там...

Продолжала, как я уже писал, читать лекции.

Во второй половине апреля стала доделывать свои статьи – о комментариях Раши, объединила две статьи об английской лингвистике 17 века в одну, а главное – кончила статью о библейской метафоре. Начала писать статью «Ньютон и еврейская традиция» – её она кончила уже 8 мая.

И хотя она работала, так сказать, контролируя себя, стараясь не утомиться, успела она за это время удивительно много, намного больше, чем я – здоровый.

Да, примерно в середине апреля она сменила врача. Вернулась из Израиля жена Танечкиного начальника, *ЕЕ*, которая работает с Танечкой. Она раньше работала психиатром в больнице, потом психотерапевтическую практику имела, и сейчас у неё много пациентов.

Лида к ней съездила, договорилась о регулярных встречах. Я сходил к *ZZ*, принёс ему две бутылки «Мартини», благодарил и кланялся, и как можно мягче постарался сказать, что у Лиды другой врач.

Надо сказать, что *ZZ* был у нас за это время 2 или 3 раза, скорее – два. Остальные контакты были по телефону. Он с самого начала отказался брать деньги, как мы его ни уговаривали. Но, не беря денег, он и не ходил регулярно. Хотя, конечно, мы ему были очень благодарны.

А *ЕЕ* Лиде вначале очень понравилась. Она – человек того же круга, с ней легче говорить. И лекарства она сразу ещё снизила. Говорила, что если бы знала, что сделали этот укол – можно было бы совсем отменить. И вначале она оставила небольшую дозу галоперидола и азалептина. А потом только азалептин, маленькую дозу. Говорила, что он (азалептин) – самый мягкий.

Лида к ней ездила регулярно – раз в неделю.

Но потом Лида в ней как-то разочаровалась. Она считала, что совсем выздоровела, и не очень понимала, зачем ездит и что та от неё хочет.

Да, *ЕЕ* как-то, видимо, в апреле сказала Лиде: «Как хорошо, что вам удалось миновать депрессию».

Отношение к жизни

Она жаждала выбраться из больницы, выздороветь, вернуться к жизни. Но понимала, в каком вымотанном до последней степени состоянии она находится. Говорила несколько раз – главное, хватило бы запаса прочности.

Когда она была ещё в больнице, я договаривался с *ZZ*, он просил меня убрать с виду все колющие и режущие предметы – боялся самоубийства. Я уверил его, что сейчас у неё в мыслях этого нет. И это действительно так и было.

Когда она вышла оттуда, то главная цель – выздороветь, и больше всего её расстраивала та дикая слабость, температура – хотелось выкарабкаться, и она всё делала для этого.

В то же время она понимала, что заболела от перегрузки. Много раз повторяла, что Паула каркала – нельзя так много работать, ты заболеешь – и оказалась права.

Она давно решила изменить отношение к работе – работать, но не так неистово, как раньше, и жить, чтобы просто получать удовольствие от жизни.

Всё время всем – мне, бабуле, Валере, Наташе – цитировала деда – «жизнь должна доставлять человеку радость».

Если я вдруг заговаривал с ней о каком-нибудь конкурсе – Соросовском или другом – она сразу отказывалась. Никакой новой работы. Надо кончить всё начатое.

Май. Начало депрессии

В конце апреля – 29-го – мы поехали на дачу. Всё было нормально. Жили нормальной дачной жизнью. Я пилил дрова, возился на участке. Она топила печку, готовила обед. Заходила к Раисе Гавриловне – покупала яйца.

Ездили в Лотошино – покупали на рынке мясо, картошку, другую еду, что-то для посадки. Гуляли

¹¹ В 1997 г. Танечка составила и издала книжку: Жизнь прекрасна и беспощадна. В. Барлас – Л. Кнорина. Эссе, стихи, письма. Воспоминания друзей и близких. М. «Готика».

– по тракту.... Наверное, немного работали – каждый что-то своё делал – не помню точно.

Вернулись в Москву. Нормальная уже жизнь. Чувствовала она себя неплохо.

На 9 мая (и выходные, которые «до») я уехал в Казань – обычная моя майская поездка к маме. Уехал ненадолго, 10 мая я уже был в Москве.

Она была очень рада мне, когда я вошёл. Но когда я через какое-то время спросил – как дела? – она ответила: «Всё плохо. Я всё кончила, мне нечего больше делать». Тут же сказала, что у неё небольшое гинекологическое кровотечение.

Я как-то больше испугался кровотечения, чем этих слов – «Всё плохо, мне нечего больше делать». Ну слабость это, мало ли что. А кровь... Ещё Третьякова всё рак искала.

Но кровотечение через несколько дней прошло – видимо, какие-то рецидивы климакса. А «мне нечего больше делать» оставалось, хотя нельзя сказать, что вначале это было ярко выражено.

Она что-то доделывала. Тут ещё выяснилось, что будет конференция у Кибрика, мы стали писать тезисы по типам. Вначале хотели подать совместный доклад. Я написал какой-то текст, достаточно абстрактный, но она этот мой текст не захотела подписывать – слишком общий. И написала отдельный текст про металецкику.

В общем, как-то особых беспокойств не было. Я в пятницу 13 мая уехал на дачу – на этот раз один – продолжить полевые работы.

Вернулся в воскресенье вечером. Тоже вроде бы ничего особо тревожного не обнаружил.

Но постепенно настроение ухудшалось. Она начала говорить о том, что не хочется жить. Говорила, что если бы самоубийство не было грехом, это был бы выход.

Я отвечал на всё это как-то тупо, не понимая, что это серьёзно – «ну что ты говоришь» и т.п.

При этом она доделывала ещё свои статьи. Я их смотрел. Она что-то исправляла. Но не так тщательно, как раньше. Иногда с чем-то соглашалась, но говорила – и так сойдёт, хотя иногда надо было бы всего полстранички ещё написать.

Ходила регулярно, раз в неделю, к *ЕЕ*. Та ей говорила, что настроение – это химия. Какие-то «оламоны», если я не путаю...

Я ей говорил (мы всю жизнь играли в языковые игры) – это «охламон» в тебе сидит. Надо с ним бороться, его выгонять.

Но нельзя сказать, что она совсем не думала о дальнейшей жизни, работе.

Как-то спросила – какую бы нам с ней книжку написать – про Ньютона или про типы. Ей давно хотелось книжку. Мы обсуждали, решили, что лучше про типы.

Но настроение всё время ухудшалось. Она говорила, что ей ничего не хочется. Только лежать на диване и смотреть в потолок, что она не хочет работать. Не помню, когда она стала говорить о самоубийстве, уже не вспоминая про грех – покончить с собой, чтобы только не мучиться, без боли, сразу – выпрыгнуть из окна или с моста. Но когда это было – ещё до нашей последней поездки на дачу или уже после – не помню...

Но я и эти разговоры воспринимал как метафору какую-то. Утешал её, говорил «прогоним охламона». Но в это время я и представить себе не мог, что такое может случиться.

Она кончила читать лекции, приняла зачёт или экзамен у студентов. Не очень была довольна этим своим курсом.

Спрашивала у меня – «Ничего, если я вообще брошу работать?..»

Я говорил – конечно, можешь не работать. Всё-таки она считала само собой разумеющимся, что будет продолжать читать лекции и на следующий год.

Приезжала Катя (её дипломница) со своим дипломом. Лида беспокоилась, что у Кати ещё нет текста, раздражалась, что Катя тянет. Но в конце концов, когда та всё-таки напечатала текст, и я спросил у Лиды «как диплом?», она с некоторым удовлетворением сказала: «Ну, всё-таки, все примеры она выписала».

Защита диплома была 23 мая, в понедельник. Катя собиралась после защиты отмечать это. Лида не хотела идти, но после защиты пошла – сказала мне потом, что неудобно было не ходить. Но для неё и защита, и это празднование после были уже трудными мероприятиями.

А накануне, 22 мая, в воскресенье, она ходила с бабулей и Тонькой на Новодевичье кладбище, там дедушка с бабушкой похоронены. Бабуля говорит, что Лида была очень мрачна.

25 мая, в среду, мы ездили на день рождения Светочки. Тоже уже мрачная она была – но ехала не потому, что было нужно – ей хотелось съездить. Она ещё в понедельник, после этой Катиной защиты зашла в «Детский мир», купила подарки – в нескольких экземплярах – и для Светочки, и для Надиных деток. Надиным деткам я уже потом, после её смерти, эти подарки привёз, говорил,

что Лида им купила.

А возвращаясь после Светочкиного дня рождения, в метро, мы встретили Успенского. Лида оживилась, была довольна.

В четверг мы уехали на дачу – об этом я уже писал.

Отдельные эпизоды

Не помню уже, до дачи или после неё, она подошла ко мне, мы обнялись. Она сказала: «Ты самый лучший, но я не могу, не могу...»

Почти Реквием

Был эпизод, чем-то – теперь – мистически напоминающий легенду о моцартовском Реквиеме.

Ещё когда она была в больнице, позвонила какая-то женщина, спросила Лиду. Я сказал, что она в больнице, спросил – что передать? Она сказала, что Лида её не знает, но у неё к Лиде дело, ей Лидин телефон дали в Сохнуте¹².

Потом, когда Лида была уже дома, та женщина снова позвонила. Говорила, что ей нужно проконсультироваться, найти какую-то библейскую цитату в еврейском тексте Библии.

Лиде не хотелось видеть никого из посторонних, она всячески пыталась отказать, пыталась по телефону всё объяснить или отослать женщину к кому-то, тем более, что ей казалось, что просьба пустяковая, её сможет выполнить любой человек, знающий иврит, а таких много – придти просто в синагогу.

Но дама была настырная, и в конце концов добилась того, что Лида разрешила ей приехать. Оказалось, что у неё погиб муж, и она хочет на памятнике сделать надпись на иврите – эту самую цитату, о которой она говорила (что-то из Экклезиаста, кажется). Лида показала ей это место в Микре¹³, дала какие-то консультации про алфавит – откуда буквы срисовать мастеру, который будет надпись писать (явно этот мастер иврита не знал).

Этот эпизод и тогда какой-то мистицизм в себе содержал, а теперь его вспоминаешь, как предупреждение. Мотив еврейского кладбища уже возник¹⁴.

В последние дни я ей часто говорил: «Это всё «охламон» в тебе, всё от него. Я справлюсь с ним, мы его победим. Вот уйдем в отпуск и будем ходить на наше озеро...» Но «охламон» оказался сильнее и быстрее.

Зачем я пишу, писал этот текст? В общем-то понятно. Чтобы не носить всё это только в себе, как-то выпустить из себя. Но нужен ли он ещё кому-нибудь, кроме меня, – не знаю, не уверен, хотя, наверное, буду давать его читать.

С тем, что её нет – нельзя смириться, к этому нельзя привыкнуть, это не может пройти, как мне многие говорили. И я не хочу, чтобы «это прошло»,.. Она во мне, я слышу её интонацию – почему-то телефонную – «Володечка...». Надо просто научиться жить с этим.

Почему мы хотим жить?

(Отрывок из письма моему другу, Илье Шмаину. Его дочь, которая долго болела, покончила с собой в 1997 г. Я написал ему из Америки, когда узнал об этом).

...То, что я пишу здесь – это обо мне, о том, что было со мной тогда, и что сейчас. В наших несчастьях, увы, много общего.

Тогда, в последние дни, Лида всё время говорила: «Я не хочу жить». А до меня не

¹² Еврейская организация.

¹³ Одно из названий Еврейской Библии (у христиан – Ветхий Завет).

¹⁴ В тексте нигде, почему-то, не сказано, что Лида похоронена на еврейском кладбище в Малаховке. Меня просили об этом Лидина сестра Надя и её муж Довид. Подумав, я согласился. Через какое-то время я поставил памятник. На нём – цитата из Библии (на иврите) «И нашёл камень, и поставил памятник». См. на сайте мой текст «Памятник». (Примечание 2002 г.)

доходило, я не мог этого по-настоящему понять. Ведь в отличие от психоза, в депрессии она была как бы абсолютно нормальной, здоровой. Только не хотела жить.

И уже после – эта банальная мысль. А почему мы хотим жить? Это ведь что-то ни к чему не сводящееся, какое-то базисное чувство, наверное, одинаковое у людей и зверей – иначе бы просто жизнь не могла бы продолжаться. Т.е. просто какая-то химия или что-то в этом роде, какой-то основной механизм. И вдруг иногда почему-то он ломается, выходит из строя, и даже просто переходит в свою противоположность. И жизнь превращается в муку.

Причём всё это может произойти безо всякой видимой причины, независимо от сознания.

И как бы чувствуя это, в те же последние дни, Лида старалась ловить каждую внешнюю радость, чтобы как-то противостоять этой муке.

За неделю до конца я повез её на дачу. Я надеялся, что дача, которую она так любила, как-то поможет. Она слабо сопротивлялась – каждая затрата энергии тогда пугала её. Но согласилась, тоже, видимо, надеялась. И когда мы сошли с автобуса и вошли в лес – она сказала: «А в лесу действительно хорошо». Но это «хорошо» продолжалось недолго. И как на грех, почти всё время лил дождь. И когда мы гуляли, и вдруг проглядывало солнце, она говорила: «Вот когда солнышко – хорошо».

Вообще, уже после, вспоминая, я отмечал, что много раз она как бы цеплялась за разные мелочи – в какой-то надежде.

... Биолог Л. Звонил, хотел с ней встретиться и обсудить что-то, связь книги Бытия со своей концепцией жизни. Она не очень поняла его, но заинтересовалась. Но он почему-то отложил встречу, и она была разочарована.

...Узнав о выступлении Вольпина, оживилась, пошла.

...В предпоследний день она заезжала к своей маме и не застала её приятеля, писателя Льва Разгона, он ушёл за 15 минут до её прихода. Очень жалела, она его никогда не встречала и хотела познакомиться.¹⁵

...Совсем какие-то мелочи. В тот же предпоследний день, перед тем, как мне идти на работу, мы зашли в магазин в Строгино, она хотела купить себе какие-то тряпки, что-то мерила – не подошло.

Это всё вещи, в общем-то поверхностные – но она как бы цеплялась за них, в какой-то надежде как-то справиться с этой болью.

А о боли мне рассказывала потом её знакомая, ММ., которая сама через это прошла. У неё тоже бывало такое состояние, когда так плохо, так больно, что хочется умереть.

Много лет назад у неё была глубокая депрессия. Она говорит – шла по улице со своим трёхлетним сыном. И жуткое состояние, невозможно жить. И единственный выход – сейчас, немедленно, кончить это, покончить с жизнью.

Но как? В руке – ручонка сына. Она позвонила брату – возьми сына на пятнадцать минут, мне очень нужно... (вычислила – ей пятнадцати минут хватило бы...). А брат отказал. Она умоляла его – а он ни в какую. И она ужасно разозлилась на брата. Ей так нужно, она так униженно просила, а он отказал. И вот эта злость на брата, на его эгоизм – спасла её. Как-то туман чуть рассеялся, она смогла выкарабкаться.

Она говорила, что в такие минуты совсем не думаешь о близких. Всё отодвигается куда-то. Остаёшься один на один со своей болью, с этим чувством невыносимости. И готов на всё.

Но она выкарабкалась. А потом уже, когда депрессия повторялась – она помнила, что она выбиралась из неё. И это помогало.

А у Лиды депрессия была в первый раз.

Удивительно, что некоторые люди утешали меня странным образом. «Это всё равно неизбежно. Не в тот раз, так потом, всё равно это бы случилось. От этого не

¹⁵ Так написано в этом письме, и я так считал. М.Е. сказала мне, что это ошибка. Лида много раз раньше встречалась с Разгоном, но очень давно его не видела и жалела, что не встретила его в этот раз.

уйти».

Даже если отбросить саму странность такого «утешения» – само по себе это утверждение (что это неизбежно) сомнительно. Кто может это знать?

Всё равно моя вина, что не понял эту её боль, не смог тогда удержать её, прозевал.

Мало ли как всё могло обернуться. И сама она могла бы выкарабкаться. И, может быть, лекарства, тот же Prozac, о котором я тогда ничего не слышал, и который, говорят, многим помогает...

Теперь обо мне самом. С её смертью – что-то из меня ушло. Это всё о том же – почему мы хотим жить. У меня нет той боли, которая была у неё. У неё была своя боль, это нежелание жить, противоположное желанию жить у нормального человека.

Моя боль – за неё, это другое. Но радость из моей жизни ушла. Какая-то опять же основная вещь. Мне уже как бы ничего для себя не нужно.

Во время Лидиной болезни мы часто перезванивались с Натальей Алексеевной Кожевниковой. Она в это время выпускала свою книгу, «Типы повествования». А принесла она её – уже на поминки. В книге перечисляются и классифицируются разные виды повествования. Боюсь, моё повествование легче обозначить вне этой классификации. Это *плач* – мой плач по Лиде. Я писал, почти всегда плача, писал, чтобы выплакаться...

Приложение. Некоторые имена и названия, упоминаемые в тексте

Названия

ВИНИТИ – Всесоюзный (теперь Всероссийский) институт научной и технической информации АН (Академии Наук), мы с Лидой там работали (она – до перехода в ИВАН)

ИВАН – Институт востоковедения АН. Лида работала там с 1991 г.

Лотошино – посёлок Московской области, недалеко от нашей дачи.

ОСИПЛ – Отделение структурной и прикладной лингвистики на филологическом факультете МГУ. Лида там училась.

РГГУ – Российский Государственный Гуманитарный Университет.

Имена

Лида – Лидия Владимировна Кнорина (девичья фамилия – Барлас, Кнорина – фамилия по первому мужу). В августе 1994 г. Лиде исполнилось бы 50 лет. Научный работник, лингвист. Закончила Отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ. Много лет работала в ВИНИТИ. В 1991 г. перешла на работу в Институт востоковедения, сменила направление работы, стала заниматься библейским ивритом.

Я – В.Б. Борщев, научный работник. С Лидой мы прожили больше 18 лет.

Аза – А.Л. Шумилина, лингвист, сослуживица Лиды по ВИНИТИ.

Алпатов В.М. – лингвист, Лидин приятель со времён университета, потом её начальник в Институте востоковедения.

Бабуля – «домашнее» (в нашем доме) имя Лидиной матери, М.Е.Аспиз (см. М.Е.)

В.Я. (дед) – Владимир Яковлевич Барлас, Лидин отец. В 1981 г. погиб – его сбил велосипедист.

Валера (Валерочка) – В.Э.Кнорина, Лидина дочка; с 1991 г. живёт в Израиле.

Валера с семейством – наши соседи по даче.

Вера – Подлеская В.И., лингвист, наша старая знакомая.

Вольпин Алик – А.С.Есенин-Вольпин, математик и поэт, когда-то работал в ВИНИТИ, потом эмигрировал в США.

Вольпин Н.Д. – мать А.С.Есенина-Вольпина, поэт и переводчица.

Гаврилова В.И. – лингвист, Лидина подруга по университету.

Гиндин С.И. – лингвист, старый Лидин знакомый.
Дед – так Лида, Валера, а вслед за ними и я, называли Лидиногo отца, В.Я. Барласа (см. В.Я.)
Довид – В.В.Карпов, муж Нади, Лидиногo сестры.
Ефимова Леночка (Е.Н.) – наша старая знакомая, жена Сосинского.
Зализняк А.А. – лингвист, научный руководитель Лиды.
Жолковский А.К. – филолог, сейчас живет в США.
Иванов Вяч. Вс. – филолог, сейчас работает в США
Катя – Медведева Е.?, Лидина дипломница.
Ксения – Лидина тётка, кузина М.Е.
Кожевникова Наталья Алексеевна – филолог, наша старая знакомая.
Королёва Таня (Т.?) – Лидина подруга.
Лана – Л.А.Азарх, художница, наша знакомая.
Лиза – Е.Я.Ранцман, вторая жена Лидиногo отца, мать Танечки.
Людмирская Галя (Муравьева Г.Д.) – филолог, наша знакомая.
М.Е. (бабуля) – Мирра Евсеевна Аспиз, Лидина мама.
Маслов Ю.С. – лингвист, Лидин оппонент по диссертации.
Мельчук И.А. – лингвист, сейчас живёт в Канаде.
Муравьева Ира – лингвист, Лидина сослуживица по ИВАНУ.
Надя – Н.В.Аспиз, Лидина сестра (единоутробная).
Наташа – Н.Ф.Штильмарк, Валерина подруга.
Нэмочка – Наоми Рош, Лидина двоюродная тётка, живёт в Израиле.
Паула – П.С. Марголите, старая Лидина знакомая.
Перцов Коля (Н.В.) – лингвист, Лидин однокурсник.
Поздняк Рита (М.В.) – математик, наша старая знакомая, работала в ВИНИТИ.
Поливанова А.К. – лингвист, Лидина подруга по университету.
Раиса Гавриловна – наша соседка по даче.
Рика – наша собака.
Розина Рая (Р.И.) – лингвист, наша старая знакомая и соседка по Строгино
Рожнов – известный врач-психиатр.
Романов В.Н. – руководитель кафедры на философском факультете МГУ, где Лида преподавала весной 1994 г.
Светочка – дочка Танечки.
Сосинский А.Б. – математик, наш знакомый.
Серёжка – С.В.Борщев, мой сын, живёт в Израиле.
Танечка – Т.В. Барлас, Лидина сестра (единокровная), дочь Е.Я.Ранцман (Лизы).
Тонька – А.П.Лычагина, Лидина подруга по университету.
Третьякова Т.Г. – наш врач в академической поликлинике.
Успенский В.А. – математик, один из основателей ОСИПЛа, учил там Лиду математике.
Устинова Лена – лингвист, Лидина сослуживица по ИВАНУ.
Феликс – Ф.З.Рохлин, мой старый друг.
Френкель Ляля – Лидина знакомая.
Херувимовна – так Лида, а вслед за ней и я, иногда называли NN, её врача в больнице.
Шиханович Ю.А. – математик, учил Лиду математике на ОСИПЛе. Когда Лида была в больнице, он работал в Комиссии по правам человека (под началом Сергея Ковалёва).
Шмаин И.Х. (отец Илья) – наш старый друг, когда-то работал в ВИНИТИ.
Янко Таня (Т.Е.) – лингвист, наша старая знакомая.
ЕЕ – врач, наблюдавшая Лиду в апреле-мае.
NN – Лидин врач в больнице.
ZZ – врач, который лечил Лиду после выхода из больницы.